

18+

КЭРРИ МЭТЬЮЗ

# СИГАРЕТЫ

РОМАН

Искрометная  
социальная комедия нравов  
в стиле Джейн Остен  
о непостижимой природе  
человеческих  
взаимоотношений.

WASHINGTON POST  
BOOK WORLD

ph

# Хэрри Мэтью Сигареты

*indd предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69351640](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69351640)*  
*ISBN 978-5-86471-899-5*

## Аннотация

Восхитительная постмодернистская комедия нравов XX века, роман о молекулярных броуновских отношениях призраков нескольких "потерянных поколений". В нем прослеживаются судьбы нескольких десятков людей из довольно преуспевающих семейств штата Нью-Йорк, поэтому это еще и семейная сага, охватывающая значительный кусок XX века – от 1930-х годов до 1960-х. Кроме того, это роман о живописи и искусстве XX века, о тайне творчества, об истинных и мнимых его ценностях, об оригиналах и подделках. Еще это "роман взросления", а также жульнический роман со своей детективной интригой, тайнами и неожиданными поворотами сюжета. И конечно, это книга со многими слоями иронии, которые мастерски собраны в такую изящную китайскую шкатулку-головоломку, что разбираться с "Сигаретами" – сплошное читательское наслаждение.

# Содержание

Аллан и Элизабет	6
Оливер и Элизабет	24
Оливер и Полин	44
Оуэн и Фиби: I	62
Оуэн и Фиби: II	110
Конец ознакомительного фрагмента.	115

# Хэрри Мэтьюз

## Сигареты

Cigarettes by Harry Mathews

Copyright © 1987, 2021 by The Estate of Harry Mathews

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии Марка Полицотти

Перевод с английского Максима Немцова

Редактор Шаши Мартынова

Оформление обложки и макет Андрея Бондаренко

© Максим Немцов, перевод, 2023

© Андрей Бондаренко, оформление, 2023

© «Фантом Пресс», издание, 2023

\* \* \*

*Памяти Жоржа Перека<sup>1</sup>*

*– Позволь, я тебе расскажу об этом историю, —  
сказал Вьюрок.*

*– А история будет про меня? —  
спросил Нутрий. —*

*Если да, я послушаю – обожаю сказки.*

*Оскар Уайлд, «Верный друг»<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Жорж Перек (Перец, 1936–1982) – французский писатель, кинорежиссер, участник творческой группы писателей и математиков «УЛИПО» («мастерская потенциальной литературы»), друг Мэтьюза. – *Здесь и далее примеч. перев.*

<sup>2</sup> Перев. А. Грызуновой.

# Аллан и Элизабет

## Июль 1963

– О чем это он: «Ты, видимо, желаешь объяснения»? Он же ничего не объясняет.

Дом со щипцом высился над нами, словно американский гриф, из которого чучело набили прямо в полете. Публика все еще собиралась. Сквозь сиреневую живую изгородь доносился шорох гравия под колесами и метались пряди света, мигавшего у нас за спинами вдоль бледной гряды японского кизила, где мужчина в белом смокинге изучал письмо Аллана, светя на него карманным фонариком.

Затем он передал письмо по кругу. Когда очередь дошла до меня, новый оборот фар явил: «...то состояние, в каком я был, – едва увидел тебя, когда меня выводили... Тьма, ослепительный свет... Я даже пискнуть не сумел». Мне тоже стало непонятно. Даже если Элизабет ослепила его – неужто это Аллан?

Хотелось понять. У меня было намерение однажды написать книгу об этих людях. Мне нужна история целиком.

В тот день Элизабет после многолетнего отсутствия вернулась в городок. Слегка за полночь она отправилась в «казино», как назывался последний частный игровой клуб. Аллан уходил. Перебрал с выпивкой, затеял шумную ссору, и

теперь его учтиво выпроваживали. С Элизабет он разминулся в ярком свете вестибюля. У дверей ему велели:

– В следующий раз, мистер Ладлэм, потише, пожалуйста. И осторожней на дороге.

– Спасибо. А она *кто*?

– Понятия не имею.

Ночь снаружи была жаркой и звездной. Аллан поехал было домой, но по пути остановился у «Курортной городской закусочной». Мод уже давно спит.

Он выпил две чашки кофе, болтая с поздними едоками. Вот бы представить себе Элизабет в точности. (Он помнил скучную белизну ее одежды, суматоху рыже-золотых волос.) Аллан знал, что она его заметила; от ее готовности благосклонно принять его в тех обстоятельствах он вынужденно поморщился.

Была в нем даровитость, если не мудрость, и ею Аллан дорожил. Мир и себя самого он презирал. Не так давно он выказал ко мне доброту, когда редко кто делал то же самое. Погиб мой близкий друг, а слухи жестоко винили в той гибели меня.

– Вам повезло, – сказал мне Аллан, – смолоду узнать, какие люди сволочи. «Люди», – добавил он, – включают меня. – Он имел в виду, что дружба со мной – знак того, что он не лучше прочих, а всего лишь сообразительней. Аллан не доверял даже собственной порядочности.

По пути домой, проезжая «Аделфи», он заметил, как ры-

жеволосая фигура в белом пересекает слабо освещенную террасу. Дал по тормозам. Возможно, прошла минута, пока Аллан не припомнил, что он местный уважаемый человек, что себя уже унизил и все еще пьян. Машину поставил на стоянку и вошел в гостиницу. На ночном дежурстве обнаружил Уолли, знакомы они были тридцать лет. Аллан спросил, не слишком ли поздно пропустить по одной на сон грядущий. Уолли сказал: покараульте тут, вернусь через минутку.

В вестибюле, похоже, никого не было. Аллан зашел за стойку портье, чтобы получше разглядеть в книге записей постояльцев, кто заехал к ним в этот первый день июля. Его остановило знакомое имя: Элизабет Х., женщина с портрета, который только что купила Мод. Он ее встречал раз или два, очень давно. Возможно, и в казино была она. Наверное, он ее безотчетно узнал – это бы объяснило, почему она так на него подействовала. Заслышав, как возвращается Уолли, Аллан запомнил номер ее комнаты.

С минуту он потягивал виски с содовой, а потом сказал, что сходит в уборную. Скрывшись из виду, вступил в медовое свечение застланной ковром лестницы. На третьем этаже свернул вправо. Никаких планов у него не было.

За одной стеной судорожно ныла водопроводная труба. Если, конечно, подумал Аллан, среди старых деревянных балок не заблудился бурундук; звук поразил его своей животностью. Аллан отсчитывал номера, пока не дошел до двери Элизабет.

Нытье доносилось из-за этой двери. Он прижал ухо к дереву. Голос был не бурундучий. Аллан опустил на одно колено и прикинул глазом к замочной скважине: система «Йель». Края двери утопали в косяках заподлицо.

Высокий голос дрожко пел себе дальше, изводя, как заевший автомобильный клаксон. Аллан подергал двери соседних номеров. Та, что справа, открылась, и он вошел в темную спальню, где фонарь с улицы освещал пустую постель. Пересекши комнату, Аллан поднял фрамугу и высунулся наружу. На уровне пола вокруг всего здания бежал карниз в фут шириной. Из окна слева лился слабый свет. Вцепившись в раму, Аллан опустил обе ноги на карниз и скользнул вдоль него. Достигнув же света, наткнулся на подсвеченных голубых пастушек, расхаживающих в однообразии ив. Шторы не выкроили взору его ни щелочки. И вновь услышал он голос, тянущий свой гнусавый распев. В вестибюле, когда женщина глянула на него, а затем отвела взгляд, из не до конца застегнутого ее платья выскользнула одна ничем не поддерживаемая грудь, и ее тут же ловко заправили на место. Аллан помыслил наготу ее под белым хлбпком и затянутым широким ремнем, сцепленным золотыми змеями.

Он глянул вниз на улицу – его мог увидеть кто угодно – и принялся возвращаться откуда пришел. Внизу Уолли помахал ему, когда он выходил в пылкую ночь. Аллан был до того изумлен, что, проснись Мод, когда он вернулся домой, – рассказал бы ей обо всем, что совершил.

В письме своем Аллан обращался к Элизабет: «Я не переставал спрашивать себя, действительно ли это твой номер? Твой голос? Кто там был с тобой? Что именно эти он или она с тобой делают? Ответов я не желал – я желал *тебя*. Я ошущал себя *обездоленным*».

Поиски Элизабет заняли неделю. В этом небольшом городке у него имелось множество друзей, и кое-кто утверждал, будто знает ее; одного пригласили на прием, где ожидали и ее. Аллан тоже пошел.

Прием устраивали в большом доме на Клинтон-стрит, почти на окраине городка. Аллан показал на женщину из казино на другом краю лужайки, и друг подтвердил догадку: это Элизабет. Аллан категорически отказался подходить с нею знакомиться. А двадцать минут спустя пожалел о своем отказе. Он надеялся привлечь внимание Элизабет; она даже не взглянула на него. Он высмеивал себя как глупца и неумеху. Два неразбавленных напитка лишь усугубили его беспомощность.

Отвернувшись от сутолоки возле бара, к которому подошел за третьей добавкой, Аллан обнаружил, что Элизабет ждет у него за спиной. Ей в глаза он заглянул как мог прямо. Она его не узнала. Его утешило, что она не вспомнила о его позоре, и обескуражило, что он не произвел на нее впечатления. Он надеялся – нелепо, – что она тут же увидит: ею он уже одержим. Она улыбнулась.

– Вы, похоже, потерялись.

– Потерялся. Я здесь из-за вас. – Он растерял всякую уверенность, поэтому то, что могло выглядеть дерзостью, прозвучало правдой.

Элизабет скользнула рукой ему под локоть.

– Расскажите-ка мне, что и как.

Они выбрались из толпы. Едва понимая, что́ сказать, он признался: его выставили из казино, где он ее и увидел, одежда – в некотором беспорядке. Элизабет рассмеялась:

– Хотя бы *вы* заметили. – Смущение Аллана привлекало ее больше обычных светских любезностей. – А теперь что?

Аллан вспомнил голос в гостинице и снова залился румянцем.

– Поужинаем? В казино? И я оправдаюсь в ваших глазах.

– Ладно. Только если мы будем играть, вам придется меня профинансировать. Мне едва хватает на номер с завтраком.

В казино, забронировав столик, Аллан купил фишек на пятьсот долларов и половину отдал Элизабет, за что она его поцеловала в щеку. Остановились на рулетке.

Перегнувшись через сидевших игроков, Элизабет поставила все свои фишки на первый же запуск: сто пятьдесят долларов на черное, остальные на 17.

– Чистейшее суеверие, – сказала она Аллану. – *Никогда* не выпадает.

Объявили *quinze, impair, noir, et manque*<sup>3</sup>.

(«Хотя бы близко», – заметила Элизабет.) Ей уступил ме-

---

<sup>3</sup> Пятнадцать, нечет, черное и промежуток от 1 до 18 (*фр.*).

сто мужчина. Крупье подвинул к ней аккуратной стопкой сто пятьдесят долларов.

Аллан сел за стол напротив. Он слегка досадовал. На игру Элизабет Аллан решил не обращать внимания и сосредоточился на своей. Перед тем как сделать ставку, расспросил соседа о последних запусках колеса, шесть посмотрел сам. Рулетка Аллану нравилась. Она проверяла его владение собой: ставить он принуждал себя с predetermined интервалами и на те числа, которые выбирал статистически. В тот вечер он снял куш рано: 6 *enplein*<sup>4</sup>, что принесло ему двести долларов. (Аллан глянул на фишки Элизабет: минимум на тысячу.)

За следующие полчаса он выиграл еще две сотни. Ставку свою больше чем удвоил, а их уже ждал столик: пора бросать. На месте Элизабет уже сидел какой-то старик.

– Славно идете.

Когда он повернулся, его нос скользнул ей по грудям.

– А вы?

– Будоражило невероятно – в какой-то миг почти две косях. Тьфу! – Она показала на колесо, где белый шарик скачивался к 17.

Досада Аллана вернулась. Раздражал его он сам. Аллан знал, что на свои собственные деньги Элизабет играла бы точно так же; да и она ему ничего не стоила, поскольку ее проигрыш он покрыл своими выигрышами. Элизабет смот-

---

<sup>4</sup> Прямая ставка (*фр.*).

рела на него без раскаяния, едва ли не довольно. Ей было безразлично, выиграет она или проиграет, а от такого он ревновал. Проигрывать Аллан терпеть не мог. Вопреки себе он подумал о Мод. Элизабет начинала его пугать.

Позже она ему сказала – после того, как сильно хлестнула по физиономии:

– Сволочь, хватит сдерживаться! – Одной ногой, как крючком, обхватила сзади его колени, другая обвивала его бедра.

И в любви Аллан применял самоконтроль. Тщательно старался сперва ублажить сам. Элизабет же предпочитала безудержность – никакого «мое» или «твое», уж точно никакого твоего, а затем моего. Для Аллана наслаждение женщины гарантировало его собственное. Дело верное.

Элизабет его прищучила:

– Я люблю то, что ты со мною делаешь, но давай не будем всю ночь исполнять долг. Хочу я *тебя*. – Он начал было объяснять. Она рассмеялась: – Послушай, мне тоже нравится быть неотразимой. Хватит тут хозяйничать.

Он согласился попробовать. Попытки лишь еще больше обескуражили, и решимость его съезжилась. Элизабет понимала, каково ему. Она принялась играть с ним, как с ребенком. Немного погодя он уже несколько забыл о своем затруднении; а потом, когда и он заиграл, она вновь его шлепнула – ровно с такой жесткостью, чтобы укрепить его желание игривой мстительностью. Он дал себе волю – и давал себе волю и дальше, и вот уж голову его наполнил высокий, зловещий,

знакомый вой. Аллан полностью забылся, забыл все, кроме одного закулисного, коварного вопроса: кто сегодня вечером подслушивает?

Назавтра он написал ей письмо: «Ты, видимо, желаешь объяснения...» К тому времени, должно быть, он уже знал, что объяснения Элизабет не интересуют; наверняка понимал, что объяснять тут нечего. Ему настоятельно захотелось ей написать, и он поддался своему порыву, не сознавая, что происходит порыв этот из не рассказанного ей, – и он жалел, что не рассказал этого: он женат на Мод. В своем письме о Мод он по-прежнему не заикнулся. Убеждал себя, что такой женщине, как Элизабет, это будет безразлично.

Элизабет о Мод узнала без помощи Аллана. Когда он увидел ее в следующий раз, она изменилась. Стала больше интересоваться им, а меньше – «ими». Приняла свою роль любовницы женатого мужчины.

Встретились они под вечер через два дня после знакомства. Когда Аллан признал существование Мод, Элизабет вынудила его поговорить о ней. И вновь Аллан поймал себя на том, что озадачен. Он корил себя: зря сразу не признался, что женат. На первой их встрече он сразу же подавил в себе позыв – что ему было сказать: «Я здесь из-за вас – и я счастливо женат»? За ужином он боялся выказать свое желание. Чувствовал, что предупредить Элизабет о Мод будет так же очевидно, как сразу снимать брюки; а потом стало уже слишком поздно.

За двадцать шесть лет брака Аллана иногда тянуло к другим женщинам. Никогда прежде не любил он двух женщин одновременно. Теперь он считал необходимым держать их порознь. Стоило подумать о том, чтобы рассказать Элизабет о Мод, или о том, чтобы рассказать Мод об Элизабет, – и он уже начинал бояться, что потеряет одну из них, а то и обеих. Даже в сокровенных мыслях своих, делая вид, будто у него две не связанные между собой жизни, он себя чувствовал как-то безопаснее. (Его неожиданно обеспокоил тот портрет, который купила Мод: живописную «Элизабет», выбранную и оплаченную его женой, предстояло повесить на стене у них в доме. Хотя Аллан зарабатывал, как говорится, «реальные деньги», он всегда уважительно считал средства Мод, благородно самовосполняющиеся, гарантом их положения. Мод он любил не за деньги; вместе с тем не знал ее без них.)

Он боролся с этой своей новой страстью. Множества любезностей Элизабет на их второй встрече понять он не мог. Она показалась ему чрезмерно услужливой – жаждала подробностей о Мод, хлопотала из-за подарка («Мой любимый полудрагоценный самоцвет!»), соглашалась встретиться с ним, когда б он ни освободился. Покорность ее намекала – нелогично и неизбежно, – что он для нее уже не имеет никакого значения. Если б имел, она была б капризнее. Неужели это вызвано его умолчанием о Мод? Должно быть, он разочаровал ее и в чем-то другом. Когда он ее об этом спросил, она поклялась, что нет.

До конца той недели они встречались несколько раз. К изумлению Аллана, Мод им это облегчала. Его жена-домоседка пристрастилась каждый день ходить на вечеринки. Едва он точно узнавал о планах Мод, как уведомлял Элизабет, а вслед за этим ехал к ней в гостиницу.

Половые каникулы, начатые с легкого флирта, могут превратиться в изматывающие упражнения по самопознанию или недомолвкам. Аллан влюбился и едва это сознавал – и неистово тщился держать в руках то, что отказывался признавать. Элизабет старалась изо всех сил. Растроганная его смятением, она жалела, что он себе так мало нравится, а своей симпатии к нему позволяла выразиться открыто и вдумчиво. Ее сострадание лишь отодвигало ее за пределы его досягаемости. Аллан чувствовал, что она превращает его в глупца. Он упустил свой сценарий.

Он-то надеялся, что Элизабет до беспамятства влюбится в него. Тем восстановилась бы его ценность. А после он бы мог предвкушать боль выпускания ее из рук.

Аллан утешал себя их наслаждением – ее, его – и прибегал к нему со всевозраставшей яростью. Под загаром своим он бледнел. Элизабет начала посматривать на него с материнской заботой.

Прошла неделя. После их пятой встречи он приуныл крепче обычного. К Элизабет отправился в примечательно хорошем настроении. Ублажил себя сочинением несдержанного письма с благодарностями человеку, который ему по-

мог. Заверил себя умиротворяющими деяниями – переоделся в полосатую розовато-лиловую рубашку, которой она восхищалась, сходил к цирюльнику, за обедом пил только воду.

Он надеялся, что, когда войдет к ней в номер, она падет ему в объятия. А вместо этого она одарила его быстрейшим поцелуем и взглядом – не недобрый, подразумевающим, что мужчины никогда не выглядят нелепее, чем сразу после парикмахерской. Усадила его на кушетку смотреть телевизор: шестой в «Белмонте»<sup>5</sup>. От заезда она не отрывалась, будто ребенок в цирке, с тем самым взглядом, какой у нее в глазах томился разжечь сам Аллан. На финише завизжала.

– Видишь ли, – пояснила она, – он друг.

– Владелец?

– Конь. – Звали его Капитальный кто-то. – Страсть как хочется джина с тоником.

Некоторое время они пили, пока Элизабет наконец его не обняла. Они разделись, один предмет за другим, лаская друг дружку; наконец Аллан воткнулся в нее, словно кулак. Она вновь завизжала, засмеялась, борясь с ним, как счастливая десятилетка, сцепившаяся с соседкой по комнате. Драла его за волосы и звала Капитальным кем-то. Ничего не делала она, чтобы скрыть свое счастье. Аллан наблюдал за тем, как сам поддается, – и поддался. Вновь она оказалась для него чересчур хороша. Больше чем хороша: самое оно. Уловкой

---

<sup>5</sup> «Белмонт Парк» (с 1905) – ипподром для проведения скачек чистокровных лошадей в Элмонте, Нью-Йорк.

и уменьем не удалось бы добиться от нее большего. Ей было нечего терять. Он лежал под нею, ощущая себя разоренным.

Она понежила его и поцеловала в рот. Он отвернул голову.

– Ты не знаешь, каково мне сейчас.

– Наверное, нет. Мне слишком уж весело.

– На самом деле тебе все равно, кто я...

– Так-так. Сегодня воскресенье, ты, должно быть...

– Ты меня даже по имени никогда не называешь. – От слов ему было стыдно. Сквозь тело сочилась нервная усталость. Элизабет озадаченно взглянула на него сверху вниз. Она снова ощутила что-то материнское – на шаг дальше от страсти, как он бы мог заметить, останься бодрствовать.

Назавтра они решили устроить себе выходной. Аллан сослался на дела; Элизабет приняла его отговорку, внутренне улыбнувшись. Ему сказала, что в десять поедет кататься на лошади. Он ее сможет найти потом, если пожелает. На прощанье обняла его.

– До свиданья, Аллан, – милый Аллан.

Аллан не лгал. Завтра утром ему было назначено с человеком, занимавшимся лошадьми. Им предстояло завершить хитрую сделку – Аллан надеялся, что с этим и задержится; но домой ехал еще до полудня. Приближаясь к своей подъездной дорожке, он остановился, завидя на лужайке лошадь, привязанную к березе и щиплющую траву. Машину оставил на дороге и обогнул участок к задней двери в собственный дом.

Там тихонько пробрался в кладовую. Из передних комнат доносились знакомые голоса: Мод и Элизабет. Аллан снял ботинки и на цыпочках прокрался по задней лестнице к себе в спальню, откуда голосов не было слышно. Подумал: лучше бы мне с этим покончить. Снял трубку, чтобы позвонить в город. Сквозь зуммер готовности он слышал Мод, голос ее был далек, затем резко стих. Кто-то снял отводную трубку внизу.

Он не услышал щелчка: трубку не положили на рычаг. Набирая свой номер, Аллан произнес в микрофон:

– Я тебя люблю. – На его вызов ответили быстро.

Зная, что Элизабет слушает, он, излагая свое дело, ощутил в себе тошнотворную нужду в ней. Ему хотелось стошнить ей в подол – и чтоб его за это простили. Сказав себе: повесь трубку, спустись, поговори с нею, есть там Мод или нет ее, – он все равно продолжал давать наставления.

Свои слова он тщательно повторил, чтоб Элизабет смогла их запомнить. Он договаривался о таком, что выдаст его как человека бессовестного, даже преступника. Ему хотелось, чтобы Элизабет понимала: она его совсем не знает, он больше того мужчины, кого она считала своим знакомым. Она забракует его насовсем, однако с некоторым изумленьем, определенным уважением.

Аллан прокрался вниз. Женские голоса звучали громче. Из вестибюля он прислушался.

– ...вы все еще желаете этого рохлю?

– Это уж мне решать!

– Либо он, либо портрет. И то и другое не выйдет!

За каждым неистовым провозглашением следовало молчание, как будто мифические персонажи поднимают повыше валуны, которые станут швырять друг в друга.

– Вы омерзительны!

– Но это мой портрет, разве нет?

– Портрет *вас* – едва ли он ваш!

– Хватит чушь нести, миссис Минивер<sup>6</sup>. Мне нужно хоть что-то, чтобы неделя у меня не прошла впустую.

Аллан пристально поглядел через просторный вестибюль в сторону передней гостиной. Сделал шаг вперед, затем отвернулся, осознав, как по-дурацки будет смотреться без бо-тинок. От слов Элизабет ему захотелось ее выпотрошить – и в то же время заплакать. Сквозь дверь в библиотеку он видел у стены портрет, все еще без рамы. Вспомнил, до чего легкой для своего размера казалась картина. Прихватив ее из библиотеки, он вынес холст через заднюю дверь.

В тот день Аллан привез картину в город и поставил, обернутую в простыню, в глубине своей командировочной квартиры. Уезжая из дома, он собирался картину сжечь; а теперь не был уверен, что с ней делать. И с собой что делать, тоже не знал. Не мог себе даже представить, что поговорит с

---

<sup>6</sup> *Mrs. Miniver* (1942) – американская военная романтическая драма режиссера Уильяма Уайлера, в главной роли (скромной, но крепкой духом английской домохозяйки) Гриэр Гарсон.

Мод. Наутро, однако, он заново растревожился за свою жену – или, по крайней мере, за ее мнение о нем.

Сделка Аллана, заключенная накануне, требовала, чтобы он нашел дополнительный источник страхования скаковой лошади. Конь этот, умелый мерин-ветеран, охромел после своего последнего заезда. Поскольку об этом знал лишь один конюх, хозяин намеревался подвергнуть коня жесткой разминке, при которой животное наверняка сломается. Это послужит предлогом для того, чтоб его уничтожить. Владелец намеревался собрать все страховые выплаты, какие только мог. Ему сказали, что помочь в этом может Аллан.

Как партнер в уважаемой фирме страховых маклеров, занимавшейся преимущественно крупными предприятиями, страховать одну-единственную лошадь Аллан никак не мог. Еще менее вероятным могло бы показаться, что он согласится выручать провинциального клиента-жулика. Однако Аллан уже впутывался в жульничества и покрупнее этого. Много лет он время от времени надувал страховые компании, которые обычно сам же и представлял очень славно.

Ему бы трудно было дать разумное объяснение такой своей негласной деятельности. Все началось в конце лета 1938 года, когда ураган, трепавший весь северо-восток Соединенных Штатов, пронесся по незавершенной, недофинансированной стройплощадке в Род-Айленде. На Аллана вышли застройщики и их подрядчики со скромной мольбой спасти их от неминуемого банкротства. Ему предложили устро-

ить так, чтобы им покрыли ущерб, который они бы понесли, будь стройка завершена, как было б, выполняйся график строительства. Аллан осознавал, что доказать необоснованность их требований будет трудно даже лучшему инспектору – с учетом разрушений, причиненных ураганом в этой части штата. Он поймал себя на том, что его едва ли соблазняет десятипроцентная комиссия, зато ощутимо прельщает само возмутительное правонарушение: никто из его знакомых или сослуживцев и не осмелился бы даже помыслить о том, чтобы пойти на такой риск. Аллан принял предложение, оно сошло ему с рук, и он сделался – как тот, кто дерзновенно пробует выпить за завтраком коктейль и вскоре обнаруживает, что стал хроническим утренним пьяницей, – привержен профессиональному обману.

Теперь Аллана просили убедить маленькую страховую компанию предложить льготные условия владельцу обреченной скаковой лошади. Именно поэтому он и звонил в город. По телефону ясно дал понять, что о его собственных комиссионных уже позаботились.

Мерина должны были убить на той неделе. Аллан знал, что в таком маленьком городке, да еще и с любовью Элизабет к бегам и лошадям, она об этом узнает наверняка. Тогда и поймет, что означал тот его телефонный звонок. Однако он забыл про Мод. Ему сразу не пришло в голову, что в том состязании по ору друг на дружку Элизабет могла передать Мод то, что услышала. Аллан был вполне уверен, что после

двадцати семи лет Мод не бросит его из-за недельной неверности; но она понятия не имела о его другой, нечестной деловой карьере, и это мерзкое дело может вызвать у нее гадливость. Если б так и вышло, он бы не мог ее за это упрекнуть.

А еще Аллан жаждал прощения. В то следующее утро он позвонил Мод незадолго до полудня.

– Лошадь? Секундочку. – Голос Мод сделался тише: – Вы знаете что-нибудь о том, что Аллан застраховал лошадь? – И снова в телефон: – Мы об этом ничего не знаем.

– Мы?

– Элизабет и я.

– Элизабет?..

– Твоя Элизабет.

– Она там?

– Я пригласила ее пожить. – Аллан молчал. Мод добавила: – Не пропадай. Когда-нибудь и тебя, возможно, приглашу.

# Оливер и Элизабет

## Лето 1936

Городок лежит на низком плато едва ли сколько-нибудь рельефной плоскости; его влажный климат колеблется от яростного холода зимой до яростной жары летом; однако люди приезжают сюда из поколения в поколение – «на воды» его соляных источников, посетить модный августовский сбор и поглазеть друг на дружку. Хоть городок и отдален, но постоянное население его даже растет: безопасность и приятность этого места все больше привлекают сюда зажиточные семейства из крупного города. Процветающее черное сообщество, сложившееся много лет назад из сезонных официантов и конюхов, решивших здесь осесть, придало этому небольшому и укромному поселению космополитичный дух.

За двадцать семь лет до возвращения Элизабет городок избрали местом проведения июльского политического съезда. Однажды вечером в начале месяца на участке одного из двадцатикомнатных «коттеджей» на Северном Бродвее в саду принимали гостей. Собралось больше двухсот человек, одетых в бледные летние цвета, слишком уж похожих друг на друга, чтобы кому-то, кроме них самих, было с этим уютно: они сбивались в стайки неодолимо, как скворцы. Среди них в очевидном отдалении стоял молодой человек, один. В

городке его не было двенадцать лет – с тех пор, как ему исполнилось десять.

Ему нравилось наблюдать за шумным сборищем (с кем он познакомится? кто понравится ему? кто полюбится?); тем не менее он решил – после второго фужера шампанского, – что ему следует либо смешаться с прочими, либо уйти. Он увидел знакомое лицо – молодая женщина, которой его некогда представили. Юноша подошел к ней. Не похоже, что она его узнала.

– Вы меня не помните? Извините – я не знаю здесь ни единой души...

– Даже меня! – воскликнула она. Он назвал их общего знакомого. – Вы Оливер! Я Элизабет Хи...

– *Вас* я узнал.

– Потрясно. Слушайте, я тоже здесь никого не знаю – по крайней мере, из тех, кого хочется. Давайте объединимся и выберем себе по вкусу. – Не успел Оливер заявить о своих сомнениях, Элизабет пленила его левую руку. – Вы первый. Как насчет дамы в голубом – блеск, что скажете? Не слишком стара для вас?

– Вообще нет. Мне нравятся женщины постарше. – Он был на год-два младше Элизабет – целая пропасть для того, кто только что из колледжа.

– *Понимаю* – и она так расторопна для своих двадцати шести! Прошу прощения, – сказала Элизабет их жертве, – вот этот восхитительный юноша, которого я знаю уже целую

вечность и могу поручиться за его восхитительно низменные намерения, сходит по вам с ума и робеет, вот я и решила оказать вам обоим услугу. Это... – ее рука стиснула сжавшийся локоть Оливера, – ...это Оливер Прюэлл.

Фамилия ненадолго привлекла взгляд Мод.

– Я думала, что помню всех Прюэллов... – Поскольку Оливер не уцепился за поданную реплику, Мод вновь повернулась к Элизабет. Посредница из нее получалась отвлекающая.

Элизабет никак не давала Оливеру обрести почву под ногами, представляя его, например, эдак:

– Ума не приложу, что он в вас нашел, но он до смерти желает с вами познакомиться.

Вскоре он уже и сам наслаждался игрой: познакомился с двумя свеженькими девушками, только что вышедшими в свет, женой губернатора и шлюхой ужасающей красоты, а сам представил Элизабет судье, писателю и спортсменам по ее выбору.

Он быстро становился одержим и самой Элизабет. Возможно, к этому его предрасположило знакомство со шлюхой. Даже тогда он продолжал думать об Элизабет как о женщине «старше» и этакой «слишком уж старой для него», куда, когда он подводил ее к какому-то до нелепости громадному хавбеку, она подтолкнула его – скорее заговорщицки, а не интимно: он стоял вплотную позади нее и почувствовал, как ее ягодички вжались ему в бедра, мягкие и мускулистые,

как язык. Запнувшись посреди очередной фразы, он едва сумел доиграть свою роль.

Под конец вечера к Элизабет пристал липучий молодой человек, распуская руки невзирая на ее уклончивую болтовню. Аллан, немного пьяный, об этом случае забудет. Оливер не отходил от Элизабет, не позволяя ни спине, ни локтю молодого человека себя изгнать, пока тот не убрался. Благодарная Элизабет попросила Оливера проводить ее домой.

Поселилась она у друзей неподалеку. Не предложила отправиться куда-либо еще, не пригласила зайти, не стала сидеть с ним на веранде. Лишь чмокнула в щеку, словно бы говоря: вы мне нравитесь, я вам доверяю. Не к этому он стремился, но очень боялся оказаться неуклюжим. Она и *была* старше. Ему требовалось приглашение.

Заходя в дом, она сказала:

– Завтра я иду в «Бани Мевилл». Пойдете со мной? Буду у павильона без четверти десять. Спросите ячейку номер восемнадцать. Должна быть самой славной на вашей стороне.

Оливер отправился домой довольный.

Назавтра утром в «Банях Мевилл», частном заведении, специализирующемся на грязях (их облагородили как *фан-го*, с кивком на Батталю в Эвганейских холмах), сопровождаемый обходительным негром в мундире из сирсакера, Оливер обнаружил, что в комнате 18 его ожидает ванна чего-то напоминающего исходящее паром дерьмо. Ему выда-

ли махровый халат и стопку полотенец, проинструктировали, как пользоваться грязью, и оставили одного. Он с сомнением пялился в ванну. Что за прок ему от этого последнего средства для заскорузлых ревматиков? Раздевшись и обернув бедра полотенцем, он обмяк на табурете, тоскливо возведя очи к световому люку из голубоватого матового стекла.

Он услышал скрежет металла и, оглядевшись, увидел, как приотворилась дверь возле ванны. В расщелину просунулась ступня с коралловыми ногтями. Дверь распахнулась, явив Элизабет. Одну руку она держала за спиной, а другой придерживала у горла необширное полотенце, которое, болтаясь, когда она делала шаг в комнату, открывало симметричные фрагменты все еще не измаранного грязью, не прикрытого одеждой тела. Поскольку в помещение вошла дама, Оливер, разумеется, встал. Элизабет спросила:

– Не желаете ли танго в фанго?

Оливер почувствовал, как соскальзывает его полотенце. Схватился за него обеими руками, а Элизабет плавно извлекла из-за спины колобок грязи размером с канталупу. Колобок этот попал ему прямиком между глаз.

Он стоял ослепленный, задыхающийся, голый. Хихиканье Элизабет донеслось до него издали. Она удрала в свою комнату. Дверь между ними не закрыла. Оливер выцарапал жижу из глаз и рта, набрал обильные пригоршни ее из ванны и зашагал за нею следом, вознамерившись мстить.

Уже обернутая халатом, Элизабет стояла у себя в комнате

рядом с дальней дверью. При его наступлении она сказала:  
– Пойдите, – и он повиновался. После чего испустила визг душераздирающего ужаса. За ним еще один; Оливер по-прежнему не понимал. Кто-то бежал по коридору. Оливер поднял одну руку, наполненную грязью. Элизабет, все еще воя, сделала шаг от двери, которая открылась, впуская крепкую матрону, чья тревога на лице быстро сменилась изумлением, а затем и негодованием. Оливер поспешно развернулся к собственной комнате, но обнаружил, что Элизабет проскользнула ему за спину. Безутешно хныча, она теперь загромождала ему проход.

Матрона перемещалась к ванне. Оливер увидел над ванной выемку с тревожной кнопкой. С хитростью загнанного зверя он, не раскрывая рта, шлепнул плюху грязи на кнопку и выскочил за дверь в коридор дамской секции.

По хронометру бегство его длилось двадцать секунд. Он миновал одну клиентку с ее служительницей; еще одну, без сопровождения, которая его не заметила; и уборщицу, катившую тележку, полную мохнатых палок. В воображаемом времени путь его близился к бесконечности, и за время этого пути он встречал другие фигуры – менее ощутимые и гораздо более настоящие: своего отца, торжествующего от того, что оправдались его худшие страхи, свою мать, белую как мел на смертном одре, к которому ее привел его позор, блатаря-сквернословия в его бригаде кандалников-каторжан. Он пережил окончательные откровения о судьбе челове-

ской и природе реального. Истину он признал и как абсолютную, и как неизъяснимую, само время – как необратимое и незначительное. Он подошел к грани мистического постижения *каритас*.

Топот хлюпающих ног – его собственных – напомнил Оливеру, в каких он обстоятельствах. После чего он потешился умной мыслью, что у всех женских комнат рядом должны быть комнаты мужские. Двери между ними запираются только с женской стороны? Почему бы и нет? Женщины – женщины никогда не пристают к мужчинам, ха ха, только мужчины к женщинам. Быть вместе возможно лишь с согласия девушек? Бани – большое любовное гнездышко? Он толкнул следующую дверь: открыто, в комнате никого. Откинул щеколду на двери развлечений: открыто, в комнате никого. Открыл дверь в дальний коридор – и там никого, все гоняются за маньяком на другой стороне! Счастливчик Оливер! Он проскакал до комнаты 18, где, запершись, присел на корточки перевести дух.

Лучше б ему пошевелиться. Сначала вымыться. Он подошел к раковине: из зеркала на него уставилась обляпанная грязью физиономия, которая могла принадлежать и Элу Джолсону<sup>7</sup>, и кому угодно. Он остался анонимен. Его рот, все еще ловивший воздух, раздвигался в ухмылке кьяроскурного блистания, когда из-под его поднятых рук через всю его

---

<sup>7</sup> Эл Джолсон (Аса Йоэлсон, 1886–1950) – американский эстрадный певец и киноактер, выступал в черном гриме, изображая негра.

грудь поползли покручивать ему соски две ладошки с острыми пальчиками. Он захихикал. Она вынудила его отъебать ее в ванне.

За обедом он у нее спросил:

– Почему не вчера вечером?

– Где? На переднем крыльце? На заднем сиденье? В гостинице на час? Нам по-прежнему, – добавила она, – нужно какое-то место. Мне кажется, я знаю где. У тебя кожа не одурела?

Они поехали в деревню, которая называлась Озеро Джордж. Поначалу миссис Куилти отнеслась враждебно<sup>8</sup>. Давным-давно она работала у матери Оливера и сказала ему:

– Вы же не мистер Рэчетт<sup>9</sup>, вы Оливер Прюэлл. Мастер Оливер, разве можно просить о таком!

Оливер приготовился бежать.

Элизабет сказала:

– Тем больше причин нам помочь, миссис Куилти. Я никогда не беседовала о вас с миссис Прюэлл, но уверена, у нее не найдется ничего, кроме похвал, а Фредерик Стоктон рекомендовал вас в самых пылких выражениях...

– Трудные нынче у нас времена, вот что я скажу, – перебила ее миссис Куилти. – Тяжело деньги даются, раз уж прави-

---

<sup>8</sup> Клэрм Куильти (в автопереводе), напомним, звали драматурга и похитителя Лолиты в романе Владимира Набокова «Лолита» (опубл. 1955). Основное действие романа происходит в 1947–1949 гг.

<sup>9</sup> Сэмюэлом Рэчеттом звали американского предпринимателя, персонажа романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» (1934).

тельство все их себе налогами забирает, даже чтоб дом поддерживать в порядке, надо людям начинать городские ставки платить, а в конечном счете никакого уважения не осталось, молодежь уже совсем не уважает, вообще никакого уважения – к людям моего возраста, раньше-то, бывало, молодые люди шляпы приподымали, а нынче повезет, если хотя б кивнут. – Пауз миссис Куилти почти не делала. – Восемнадцать пятьдесят в неделю, плата вперед, будьте любезны.

Элизабет заставила Оливера испробовать комнату немедленно. Колебания его остались в прошлом.

Он у нее спросил:

– Кто такой Фредерик Стоктон?

– Его твой отец должен знать. У него была договоренность с миссис Куилти. Еще он знакомил ее с другими господами. Отсюда и праведное негодование. Она вполне себе артисткой была, похоже. Так и расплатилась за дом. Тебе не следует спускать ей с рук.

– Если она когда-нибудь сообщит моей матери...

– Ей твоя мать до лампочки. Она знает только, что тебе нет.

– Так что ж она тогда беспокоилась?

– Показать, кто тут главный. Ты слишком уязвим, дорогуша. Послушай: хочешь – будь удобен другим, а хочешь – пусть *другие* будут удобны тебе.

– Ладно. – Оливер задумался. – Даже моя мать?

Элизабет улыбнулась.

– Понимаю, о чем ты... Она до сих пор следит, когда ты приходишь и уходишь?

– Нет. Но много обо мне думает.

– Немудрено. Она же мать.

– Я уже больше не знаю, что *именно* она обо мне думает.

Я бы предпочел возвращаться домой к тебе.

– Ты бы хотел меня своей матерью?

– Еще как хотел бы.

– Дудки, детка. – Она вонзила три ногтя ему в промежность. – Любить тебя по-матерински? Даже миссис Куилти ума хватает.

Оливер покраснел.

– Любить? – Элизабет звучно чмокнула его. Взяла в плен локтями и коленями.

– Эй! – возмутился он. – Мне, что ли, полагается тебя любить?

– А что, думаешь, здесь происходит?

– Ничего я не думаю. Не знаю. Я потрясно провожу время.

Вот это я люблю...

Элизабет позволила ему самому переползти к следующему вопросу, который он задал чуть ли не пискляво:

– Ты меня любишь?

Нелепо вздев брови, Элизабет ответила:

– «Ненаю. Потрясно провожу время...» Балбес. – Она облизнула ему губы.

К Элизабет Оливер питал восторженное любопытство,

точнее – к тому, что она сделает дальше, и не только в постели.

В колледже он «писал»; теперь он сочинял ей стихи. Они украдкой втискивались между эротическим и непристойным. Она медленно прочитывала каждое ему вслух, отчего он ежился, просила еще.

В конце третьей недели июля Оливер получил письмо от Луизы, подруги, которая и познакомила их в самом начале. Та цитировала Элизабет, писавшую о нем: «Мой Оливер! Такой элегантный, такой сметливый, и что с того? Для этого существуют доверительные фонды. Есть в нем что-то еще, способное искупить алчность его предков и омерзительную дороговизну его образования: талант уносить ноги. Он только что сочинил сонет о моей филейной части, и тот до того хорош, что я клянусь (а) его опубликовать и (б) каждый день езжу на лошади, чтобы сонет по-прежнему соответствовал действительности...» Читая это, Оливер твердил себе нечто вроде: она думает, следовательно, я существую.

Замечания Элизабет также ввергли его в смятение. Неужто нет в нем иной ценности, кроме как будущего писателя? Придется ль ему смотать удочки? Оливеру нравились его удобства. И, что еще непосредственнее, его тошнило от мысли: окажись его стихи опубликованы, их могут прочесть его мать и отец, – страх нелепый и при этом настоящий.

Как-то днем в середине августа Элизабет предложила поехать порыбачить в озере Люзёрн.

– Терпеть не могу рыбалку.

– Хотя бы выяснишь, как оно бы могло быть. – У Оливера зародилось подозрение, что она имела в виду: его отец вываживает мушкой форель в зловещей листве.

– Что мы ловим? – спросил он, отталкивая ялик от берега.

– Кто ж знает. Умеренноротого окуня?

Гребли по очереди. Дважды вытаскивал Оливер круглоглазых, грубочешуйных окуньков, некоторое время плескавшихся в металлическом ведре. Посреди озера Элизабет сложила весла.

День стоял серый и безмятежный. Они лежали на дне лодки. Оливер устроился головой на обитой мягким банке в корме, Элизабет примостилась у него под боком, щека в изгибе его плеча, одна рука – у него под расстегнутой рубашкой. О медленно вращавшуюся лодку с переменной резвостью шлепала вода.

Он наблюдал за медленными кругами лодки, за тем, как перед мягким шлепком в борт собираются маленькие волны. По-над озером от заросших тростником берегов тянуло мульчей. Вода и сопки подрагивали в рассеянном сером свете. Жизнь как будто завершилась, а ему снилось воспоминание. Он не мог сказать, каково ему. Чувства его превратились в повторения волн – и серости, которая почти не менялась под ярким низким небом.

Лодку он пустил в дрейф. Некуда ему было плыть. Он не размышлял – разве что внутри самой грезы. Все, что ко-

гда-либо произошло, лишь мнилось – мнилось, будто пригрезилось, несущественное, без сути. Лодка сонно покачивалась, поворачиваясь туда и сюда, предоставляя ему чувства, мысли, их предметы. На единственный миг, быстро миновавший, он попробовал сказать о том, что с ним происходит (может, Гегель, может, Гейне; они тоже несущественны). Не за что было хвататься. Его целиком окружал сон его существования. Его окружало ничто. Ему не требовалось ничего вне себя, за пределами этого сна.

Прошел час. Он безотрывно смотрел в небо. На западе темнеющая серость изменилась. Очерк сопот сверху тлел тусклыми фестончатыми рифами красных угольков.

– Ничто за пределами нас не задерживается. – Мысль снова притонула в сумрак лесов и воды, облака в их мгновенье огня и угасания показались ему собственной его жизнью, которой придали форму, гимном удовольствия и меланхолии.

К востоку небо обрело оттенок лика посмуглее, он больше успокаивал: уклон холодной голубизны, угольной, того колера, какой в детстве он называл полицейским синим. Оливер подумал о дядюшке, при упоминании чьего имени взрослые умолкали, – опозоренном, профукавшем свои средства и хороший брак на других женщин. Жил он в предместье Кливленда с некоей миссис Куилти. Синий, синий, полицейски синий. Оливер заглянул во тьму и ощутил содрогание могущества, осознав, что жизнь его принадлежит ему целиком и полностью, никого тут больше нет. Более никогда уже не

познает он такого счастья. Когда проснулась Элизабет, ночь уже опустилась.

Родители Оливера вернулись из Европы. Он приятно делил время между Элизабет и семейным домом.

Утром последней среды августа Элизабет взяла Оливера на бега, провела через все конюшни к особому стойлу, из которого на них зыркал пригожий гнедой жеребец.

– Уверенный, от Верняка и Маленького Желудя. И взгляни. – Элизабет показала на местные котировки в «Утреннем телеграфе»<sup>10</sup>: Уверенного внесли в тысячедолларовые скачки с последующей покупкой в тот день. – Должно быть, они сбрендили. Мы не можем его не купить. Это лучшая покупка после Луизианы<sup>11</sup>. – Она не шутила.

Оливер начал с нею спорить: с животным что-то не так, где они возьмут тысячу долларов, что они станут делать со скаковой лошадью? Элизабет: она видела Уверенного двумя днями раньше, они растрясут копилку Оливера, купят еще одну лошадь, чтоб Уверенному не было одиноко.

– Но в одном ты все-таки прав. Подозрительно это и

---

<sup>10</sup> *The Morning Telegraph* (1839–1972) – нью-йоркская крупноформатная газета, посвященная преимущественно конноспортивным и театральным новостям.

<sup>11</sup> Луизианская покупка (1803) – крупнейшая в истории США сделка, в результате которой территория увеличилась практически вдвое: по ней США получали территорию в границах р. Миссисипи – Скалистые горы – Канада – побережье Мексиканского залива у Нового Орлеана общей площадью около 828 тыс. кв. миль. Договор о покупке Луизианы у Наполеона за 15 млн долларов (около 4 центов за акр) был ратифицирован 21 октября 1803 г. и стал триумфом политики и дипломатии США.

*впрямь.* Давай спросим твоего отца.

Мистер Прюэлл был членом Ассоциации, которая в то время управляла бегами. Еще с тех пор, как Оливер был подростком, он был для сына загадкой, и тот надеялся, что таким отец и останется как можно дольше. У Оливера имелся план, который он держал в тайне даже от самого себя: он станет до того триумфально преуспевающим, что драконья натура мистера Прюэлла окажется обезврежена, не успеет он привести ее в действие. Лето подкрепило уверенность Оливера. Элизабет установила его подлинность. Теперь же Элизабет грозила перемешать всю его жизнь, чьи части прежде оставались удобно отдельными.

Он умолял ее не советоваться с его отцом. Элизабет знала, что причин для беспокойства у него нет, о чем ему и сообщила. Он отказался ее сопровождать. Такое детское упрямство ее оскорбило.

Элизабет увидела – быть может, чересчур легко, – что мистеру Прюэллу она понравилась, а сына своего он любит. Она ему позвонила, он ее пригласил на коктейль в полдень и выслушал то, с чем она пожаловала.

– На самом деле, видите ли, продать его нельзя – это просто скачки, чтобы он не терял форму. Но я все равно проверю. – Он позвонил владельцу, затем передал ей: – Угу. У них джентльменское соглашение. Вы же понимаете – мы все здесь друг друга знаем, и в таких случаях руки прочь. Вам придется поискать себе другую лошадь.

– Крах очередной мечты! Мистер Прюэлл, сегодня утром в кафетерии на ипподроме я слышала, как кто-то говорит об Уверенном, – так я и узнала, что он бежит. Не думаю, что он в курсе дела о вашей договоренности.

Мистер Прюэлл сделал еще несколько звонков, последний – владельцу Уверенного с советом вычеркнуть его.

– Умница. Есть один тип, не местный – из Джерси, я слышал...

– Я тоже.

– Не из Джерси-*Сити* же? Мне должны были сообщить. Вы заслуживаете медали Джулиетт Лоу<sup>12</sup>, – с приятной добавил мистер Прюэлл. – Так, теперь вы остаетесь на обед, а я потом везу вас на бега – владелец желает поблагодарить вас лично. Где мой мальчонка?

Оливер отправился в бары.

«Как Элизабет?» – спрашивали его. Никто в городке его без нее давно не видел. Обедом он пренебрег. На ипподром прибыл еще до двух и встал с арендованным биноклем на внутреннем поле. Вскоре заметил ее в клубе с его отцом и еще какими-то мужчинами. Один, долговязый и молодой, так и лип к Элизабет, пялился на нее, заговаривал с нею при всяком удобном случае. Оливера Элизабет не замечала. Уверенный в забеге не участвовал. Оливер отправился к миссис Куилти: никаких записок не передавали.

---

<sup>12</sup> Джулиетт Гордон Лоу (1860–1927) – основательница движения «Герлскауты США» (1915).

В тот вечер Оливер поехал в «Озерный дом Райли», где играл хороший оркестр. Остановился возле бара. Вошла компания молодежи, некоторых он знал. Уселся за их стол рядом с долговязым, которого видел на бегах. Оливер разговорился с ним. Звали его Уолтер Трейл. Как ему здесь нравится? Он сюда приехал работать. Работать – в его-то возрасте? Да, он уже сам зарабатывает себе на жизнь – красит животных. Оливер сказал, что животные ему нравятся некрашеными. Уолтер рассмеялся и пояснил, что он художник-анималист – пишет портреты любимых животных. Только что изобразил Уверенного. С пятнадцати лет он так заработал уже тысячи долларов. В колледж все равно пойдет, со следующего месяца начиная – ой, уже со следующей недели.

– Если все не брошу.

При этом у Оливера возникло восхитительное предчувствие. Он завлекательно подался к собеседнику. Уолтер поверил ему:

– Бывают такие мгновения, знаете, когда двери распахиваются – нет, вы видите, что никаких дверей и нет вовсе.

– Мать честная, Уолтер. Рассказывайте еще.

– Однажды я влюбился в циркового слона.

– Уолтер, вы же не рассчитываете, что я в это поверю.

– Знаете, как дети малые влюбляются, правда? Мне было восемь. Я хотел его картинку, поэтому моя мать нащелкала несколько снимков. Он на них вышел как тюк тумана.

– М-мм.

– Однажды ночью мне мой слон приснился. Как будто он на экране – только не выглядел тюком тумана, он там весь был как есть. Поэтому наутро я его нарисовал таким, как он смотрелся у меня во сне. У меня появился любовный подарочек на память, и так за одну ночь я научился рисовать животных. Говорят, у меня талант от природы, но от природы у меня одно: я сходил с ума по тому слону.

– Знаете, я б не стал рассказывать эту историю направо и налево.

– Просто я люблю животных – я всяких животных любил с тех пор. А забавно то, что я совершенно не способен рисовать людей.

– Почему? Людей вы разве не любите?

– Никогда не было у меня такого чувства, что не люблю. И все равно, вы себе не представляете – получать столько внимания и денег, проводить все время с этими богатыми стариками и их женами... Поневоле себя спросишь, не чудик ли я какой-то? И вот сегодня я встретил эту личность.

– В смысле – *женщину*?

– Дело даже не в том, что она красива, а в том, как она двигается. Пальцы и колени у нее двигаются так же, как лицо, а может, наоборот. Вы меня понимаете?

– Ух, еще как!

– Я глаз оторвать от нее не мог. Она видела, что я схожу с ума, глядя на нее... – Уолтер смолк. Оливер спросил, что было потом. – Она была очень любезна. Завтра придет мне

позировать. В голове не уместается.

У Оливера уместилось. Он начал было говорить:

– Что ж, мне ужасно нужно поспать, – когда оркестр бабахнул «Топая в „Савое“»<sup>13</sup>. Они попрощались жестами в грохоте.

Оливер вернулся к миссис Куилти. Никаких сообщений. Посидел у них в комнате. Звонить тоже не стал; но это же его отставили в сторону. Произошли события, в которых его присутствия не хватило. Элизабет и его отец, Элизабет и Уолтер (ее дела, разумеется) – Элизабет проявила себя как та, кого он в ней и не подозревал: натуральная сучка.

Несправедливо? А к *нему* она справедливо отнеслась? Недели с нею вымотали его. Она так много требовала. Все время хотела, чтобы он изменился. Как будто коня покупала. Совсем обезумела, если считала, что он способен писать.

Она подарила ему чудесные каникулы. А теперь каникулярное время заканчивалось. На следующей неделе уже День труда, когда он обязан вернуться в город и найти работу. Но почему же всех не опередить и не сделать этого сейчас?

Его обескураживала перспектива оставаться одному в большом городе, покуда он не сообразил, что можно позвонить подруге Луизе. Он тогда первым объяснит, что произошло. Должна же она знать других девушек.

У миссис Куилти Оливер оставил письмо Элизабет. В нем

---

<sup>13</sup> *Stompin' at the Savoy* (1933) – джазовый стандарт американского композитора, саксофониста и скрипача Эдгара Мелвина Сэмпсона.

он винил себя за события того дня, хоть и упоминал «других, с кем ты встречалась». Сказал, что не удивлен тому, что она его бросает. «Пусть быть твоим возлюбленным мне и оказалось полезно, не думаю, что сам я был полезен тебе, поскольку характер мой совершенно несообразен. Я никогда не сумею бежать с тобой ноздря в ноздю...» Следовало бы написать «лежать с тобой ноздря в ноздю» – Элизабет стащила его поближе к земле. Оливер напоминал воздухоплователя, неспособного управлять своим шаром, могущего лишь подниматься или опускаться, и вот теперь он взмывал ввысь, ввысь – раскаляя воздух у себя в уме, покуда не поплыл вновь среди утешительных угольно-голубых вершин.

Уехал он на следующий день. Элизабет так и не ответила на его письмо. В декабре он получил свежий номер «Бумаг Пресидио», небольшого периодического журнала, выходившего в Сан-Франциско, с тремя его стихотворениями. Такой журналчик, уверял он себя, нипочем не попадет в руки его родителей. Он ошибался. Когда много лет спустя умер его отец, Оливер обнаружил, что всю свою жизнь тот коллекционировал эротику – и старую, и новую. «Бумаги Пресидио» отыскивались в отцовом собрании.

# Оливер и Полин

## Лето 1938

Два года спустя, закончив колледж, Полин Данлэп приехала жить со своей сестрой Мод Ладлэм и Алланом, ее мужем, за кого та вышла накануне летом. Мод, старше Полин на шесть лет, вела себя по отношению к ней как приемная мать – с тех самых пор, как их отец овдовел.

Отец их умер тем мартом, оставив все наследство дочерям. За недели после его кончины осиротевшие сестры выяснили, что условия наследования известны лишь им да юристам их отца. Никто больше, похоже, не признавал, что мистер Данлэп накопил гораздо меньше, нежели многие миллионы, ему приписываемые, или что, как верующий в право первородства, девять десятых своего состояния завещал старшей дочери. Поскольку Мод теперь была замужем, сестры решили эти факты держать при себе: Полин может выиграть от того, что будет выглядеть явной и богатой наследницей.

Оливер, знавший Полин в отрочестве, вновь открыл ее в начале того лета. Он приехал на каникулы из города, где работал теперь в отцовской конторе. И он, и Полин сразу же смекнули, кем «был» другой (из Прюэллов, из Данлэпов), эта встреча заново им понравилась, а когда позже, на вечеринке, сведшей их вместе, обоих на улице застигла гроза, возникло

и заговорщичество. Они укрылись под громадным лесным буком, когда ночь рассекла молния, и выяснилось, что Полин ковыряет в носу. Оливер не сумел сделать вид, будто не заметил.

– Так вот как ты проводишь свободное время.

Полин дождалась, когда отгромыхает гром.

– Я не вытерпела. Это же и *впрямь* радость насущная.

Ливень стих. Они пошли обратно к освещенному дому. Лоск Полин не пострадал – его лишь спрыснуло. Кто одевает это славно слепленное юное тело, интересовался про себя Оливер, «Мейнбокер» или, быть может, «Роша»?<sup>14</sup> На одной руке она носила желтый брильянт размером с дайм, на запястье – массивные зеленые камни; у горла розово касалась ее кожи великолепная слеза жемчужины на бархатной тесьме. Даже после дождя прическа ее хранила опрятность своего изображения на ротогравюре: волосы были гладко зачесаны со лба назад, укромные завитки за ушами украшены звездочками настоящих, не увядших васильков. Глаза – чисто белые с голубым – посмотрели на Оливера с влажным блеском, когда она взмолилась:

– Ты никому не скажешь?

– Ни за что – при условии, что ты со мной завтра поужи-наешь. Иначе... – Ох, завтра никак не выйдет. Зато выйдет

---

<sup>14</sup> *Mainbocher* (с 1929) – американская марка одежды, основанная кутюрье Мейном Руссо Бокером. *Rochas* (с 1925) – дом моды, красоты и парфюмерии, основанный французским дизайнером Марселем Роша.

послезавтра вечером.

Они отужинали. Ему она понравилась достаточно для того, чтобы выйти с нею еще раз. А понравилась потому, что с такой готовностью ему доверяла. Он же ей нравился, потому что ему легко было доверять. Он держал себя и вообще держался так, как тот, кто не только в школу ходил.

Меньше понравилось ей то, что он остановился на той разновидности ласк, что повежливей. Оливер не сумел бы сказать, что вдохновило его щепетильную сдержанность. Он попросту чувствовал, что не может злоупотребить такой открытостью. Благопристойность его, вероятно, выражала страх соблазнить кого-то богатого: среди прочего «доверие» означало умение хорошенько управляться с деньгами людей.

В одной придорожной таверне он наблюдал, как она проворно уничтожает каре ягненка палочками из нержавеющей стали, которые Полин всегда носила с собой. Это представление, выполнявшееся одной рукой, подрывало все известные законы физики. Оливер спросил:

– Как тебе удастся? Ты – лучше любого узкоглазого.

– Ох, не говори такое слово! Ты киножурналы видел? Целые семьи остались без крова, потому что их дома разбомбили!<sup>15</sup> Мне не *терпится* туда поехать, сделать хоть *что-то*. Им так нужна помощь.

– Ты серьезно?

---

<sup>15</sup> Речь о Второй японо-китайской войне (7 июля 1937 г. – 9 сентября 1945 г.) между Китайской республикой и Японской империей.

– Насколько мне кажется.

– Так поезжай. Вступи в Красный Крест. Пойди добровольцев с квакерами<sup>16</sup>.

– Ой нет. Я должна сама посмотреть. Я хочу принимать решения, что мне делать.

– Все равно можно туда отправиться...

– Мне это не по карману.

– Ты это *не* всерьез, видишь? Половину своих драгоценностей могла бы заложить и заново отстроить Нанкин<sup>17</sup>.

– Они не мои. Пока еще, – быстро добавила она. А подавшись вперед, тут же призналась: – Я же не только в носу ковыряю, я на довольствии до двадцати пяти.

– А к тому времени твои кредиты по открытым счетам станут пятизначными...

– Ой, одежду мне Мод покупает. А на Китай не даст. – Она поела еще каре. Самым подкупающим манером она взглянула сквозь его глаза прямо в него самого. – А почему ты не хочешь со мной спать? Дело в тебе или во мне? Мне надо

---

<sup>16</sup> Имеется в виду Американский комитет Друзей на службе обществу (с 1917) – организация, аффилированная с Религиозным обществом Друзей (квакеров), которая работает во благо мира и социальной справедливости в США и по всему миру.

<sup>17</sup> Имеется в виду т. н. Нанкинская резня – битва за Нанкин во Второй японо-китайской войне, которая началась после отступления китайских войск от Шанхая 9 октября 1937 г. и закончилась захватом Нанкина японскими войсками 13 декабря 1937 г., когда несколько недель войска Японии убивали, пытали и насиловали население Нанкина (количество погибших – около 300 000).

попробовать «Табу»? «Спасательный круг»?<sup>18</sup>

Он замялся.

– Это будет твой первый выход, да?

– Начала б на втором, если б могла.

– Ты стройна, как «В» в «Видоле»<sup>19</sup>, но...

– Не рассказывай мне! Просто будь добр – хорошенечко подумай когда-нибудь об этом. – Это он ей пообещал. Полин продолжала: – Мод душка, но мне, конечно, очень хотелось немножко независимости – понимаешь, моих собственных хрустов? – Она добавила: – Что проку держать лошадь, если не можешь заплатить за ее овес?

Он обзрел с нею законные возможности, ни одна не слишком многообещающа.

– Попробуй Госпожу Удачу.

– О, играть мне нравится. Но как? Рынок мертвый, какдохлаямышь. Да и все равно для начала нужен капитал.

– Тебе нравятся лошади...

– Не соблазняй меня! Моя соседка по комнате разработала потрясную методу делать ставки.

– Вот видишь? Конец твоим бедам.

Оливер шутил; Полин – нет. Следующую неделю она была недоступна до заката. Все свои дни она проводила в библио-

---

<sup>18</sup> *Tabu by Dana* – женские духи, созданные парфюмером Жаном Карлем для парфюмерного «Дома Дана», учрежденного в Барселоне в 1932 г. *Lifebuoy* – марка мыла, впервые введенная в Великобритании в 1895 г. братьями Лавер.

<sup>19</sup> *Veedol* – марка машинного масла, производившегося *Tidewater Oil Company* (1887–1966).

теке Ассоциации, где хранилась полная подшивка «Утреннего телеграфа». По графикам газеты она сверяла и совершенствовала систему своей соседки.

Система постановляла, что лошадь, чтобы выиграть, должна победить в своем последнем старте на дистанции не короче грядущего заезда. К этому требованию Полин добавила некие строгие показатели того, в какой форме жокей. Согласно ее изысканиям, когда жокей и лошадь удовлетворяли ее требованиям, которые она искусно свела к трем алгебраическим уравнениям, можно было отбирать победителя в каждом третьем заезде.

У метода ее было одно неудобство. Он исключал столько вариантов, что ставить Полин могла всего в одном заезде из двадцати, а когда она обратилась от теории к практике, неделя на местном ипподроме дала ей в лучшем случае две возможности рискнуть своими пятью долларами. Один раз она проиграла и один раз выиграла – на девяти к двум. Результаты укрепили в ней уверенность, однако ясно дали понять, что, если зарабатывать семнадцать пятьдесят в неделю, жизнь ее вряд ли преобразится.

– Наверное, я вместо этого торгану своими прелестями, – сказала она Оливеру, – я все равно это сделаю, если только ты не встанешь со своей попы и не обиходишь мою.

– Хбдя, обычно ты так *не* говоришь.

– Не та кличка, красавчик. Штука в том, что покамест моя система – не ответ на мои молитвы. Наверное, можно под-

нять ставки.

– Могу ли я обратить твое внимание на то, что «Ма Белл»<sup>20</sup> и добрая книга положат в твои алчные ручонки все ипподромы этой земли? Тебе можно будет выбирать из восьмидесяти заездов в день, а не из восьми.

– Потрясно, но где ж найти букмекера?

– Просто спросить у меня.

– Ты и впрямь везде поспел.

– В этом городке? Да тут букашки в каждом водостоке.

Оливер начал принимать у нее ставки. Игра резко пошла в гору. Полин стала еще больше одержима тем, чтобы обуздать риск, и система ее поначалу действовала лучше, чем Оливер предполагал. Но вскоре девушкой вновь овладело нетерпение. Надежды у нее выросли, а награда оставалась худосочной: часы, проведенные за расчетами, и дюжина ставок за выигрыш в семьдесят долларов. Она желала Китай.

Однажды Оливер принес ей скверные новости: их букмекер не появился и они упустили победителя. Как он и предчувствовал, Полин отозвалась на это больше со страхом, чем с гневом:

– Если не смогу держаться правил, наверняка разорюсь.

Оливер к тому времени уже безвозвратно втянулся. Он не знал почему – уж точно не чтобы помочь. (На кону редко стояла хотя бы сотня долларов.) Ему это больше казалось

---

<sup>20</sup> «Мамаша Белл» – разговорное обозначение американской телефонной компании *Bell* (1877–1982).

неким соблазнением, в котором он играл эдакую паучью, довольно-таки женскую роль. Когда он брал у Полин деньги, кожу ему электрически покалывало, будто он плел заговор.

– Ты права, – ответил он. – У тебя нет резервов, а такими темпами и никогда не будет. У меня есть мысль.

– О, скорей же.

– Есть такая штука, называется мартингал. Когда проигрываешь – удваиваешь свою ставку и продолжаешь ее удваивать, пока не выиграешь. Затем возмещаешь все свои потери и к *тому* же оплачиваешься по большей ставке.

– Ладно. Значит, ставлю пять долларов и проигрываю, а в следующий раз ставлю снова эту пятерку плюс еще пять и получается десять... – она вытащила блокнот и карандаш, – ...и проигрываю, и ставлю пять плюс пятнадцать равно двадцати – ну да, с каждым разом удваивается, – а двадцать по трем к одному это шестьдесят, а не пятнадцать, – значит, я в выигрыше на сорок пять долларов, а не на... пять? Почему ты таил от меня эту мудрость? – Не успел он ответить: – Постой! А если я проиграю? Потеряю, м-м, тридцать пять, а не пятнадцать – это не может ли сделаться как-то дороговато?

– Поставишь тридцать пять со своей следующей пятеркой и все вернешь – рано или поздно тебе суждено выиграть. Сама же говорила, у тебя никогда не бывало трех-четырех проигрышей подряд.

– Я тебе показывала свои таблицы. У меня бывали полосы невезения, но немного и редкие.

Оливер соображал, что к чему. Какой бы ни была игра, полосы невезения случаются так же верно, как приход ночи; и рано или поздно любой азартный игрок открывает для себя мартингал. Оливер наблюдал, как она прельщает себя таким посулом.

Сам же он прельщался ее всевозрастающей зависимостью. Он думал повторить драму несделанной ставки, чтобы восполнить ее смятение, но вместо этого попросту разок-другой предупредил ее, что его букмекер уехал из города.

– Власти предержажие, кажется, вечно предержают где-то еще, – воскликнула она. От нетерпения своего она была живейшим обществом. Ей почти что удалось расстегнуть его целенаправленную благопристойность.

Через неделю события сами по себе привели к кризису: у Полин случилось несколько прямых проигрышей. Последний стоил ей трехсот двадцати долларов. Ее ужасала необходимость выставлять такую сумму вдвойне, ужасало и не делать ставку. Оливер предложил ее профинансировать. Она отказалась как могла яростно – недостаточно яростно, понимала она, хоть и не неискренне. Оливер заметил:

– Ты говоришь так, словно *мне* услугу оказываешь.

Полин же это подсказало выход:

– Давай договоримся. Если я не смогу их тебе вернуть – завещаю тебе свою девственность. И тебе *придется* ее принять.

– Полин, ты дитяtko несмышленное.

– Пошло оно все к черту. Попрошу у Мод.

Перспектива того, что она будет должна ему себя, возбудила Оливера.

– Согласен. Но настаиваю на том, что место и время выберу сам.

– Возможно. Получишь недельную отсрочку. «До сладкой песни: „Мы поспели!“ ...»<sup>21</sup> Конь – Презренье. И он выигрывает. Тогда я арендую себе настоящего мужчину, вахлак ты эдакий.

Эта хитрая страховка удовлетворила Полин. В своем будущем она обрела свежую надежду. Однако Презренье остался без призовых, и с проигрышем ее уверенность съжилась.

Полин обуял неожиданный, неутолимый стыд. Заверения Оливера оставили ее холодной:

– Даже *если* не в деньгах суть, она во *мне*. Я не позволю тебе спустить меня с крючка. Я тебе не маленькая дурочка.

– Я знаю. Нам нужно было открыть совместный счет, тогда это не имело бы значения. – Оливер сам не знал, что он имеет в виду этой шуточкой.

Несмотря на их уговор, раскаяние Полин подавило любую мысль о том, чтобы не возвращать долг наличкой. Деньги она решила заработать. Оливера это удивило и не слишком озаботило. Отплатит ему Полин или нет – он становился средо-

---

<sup>21</sup> Строка из стихотворения английского поэта Томаса Кэмпиона (1567–1620) *Cherry-ripe* (1617), перев. Д. Смирнова-Садовского.

точием всей ее жизни. Никогда прежде ни над кем он в такой мере не господствовал.

Что же касается денег, Оливер слабо верил в какие бы то ни было игроцкие системы – и уж точно не верил в Полинину. Никаких ее ставок у букмекеров он не размещал; у него и не было никакого букмекера, кроме себя самого. Она ничего ему не задолжала – Оливер держал у себя шестьсот тридцать пять долларов, принадлежавших ей.

Полин попросила Мод помочь ей отыскать работу. Мод, не зная о важности Оливера в ее жизни, предложила обратиться к его отцу – доброму знакомому, кто в то время занимался реорганизацией Ассоциации, президентом которой его избрали. Он и сможет придумать, чем ей заняться.

Сперва обескураженная, Полин быстро убедила себя, что Оливер не служит препятствием к тому, чтобы она обратилась к мистеру Прюэллу. На следующий день она ему нанесла визит. О трудоустройстве они не говорили. Был он наблюдательнее Мод и знал, как его сын проводит вечера. Полин ему понравилась. Заведя ее к себе в кабинет, именно он обратился к ней с просьбой:

– Вы влюблены в Оливера? Надеюсь, что да. Мне нужна помощь.

– Помощь с *Оливером*?

– Мне кажется, он превратился в другого человека. Еще год или около того назад он обращался со мной как со старым пердуном. Все понимал в жизни, а я для него был ра-

бом предпринимательства. Теперь же он не только уважает меня и доверяет мне – он стал на меня работать. Меня это тревожит.

– Вам не кажется, что он при этом счастлив?

– Как такое возможно? В его двадцать лет мне тоже хотелось быть писателем. Но у меня к этому не было дара, а потому я взялся за дело и принялся зарабатывать деньги. Послушайте, дорогая моя, с самого начала у меня было представление, что если я сколочу себе состояние, оно будет для того, чтобы мое дитя могло вести такую жизнь, какой пожелает. С чего бы Оливеру сызнова заниматься тем, чем занимался всю жизнь я? Если он хочет писать, пускай пишет.

– А вы уверены, что он этого хочет? Он ни словом не обмолвился о...

– У него истинный талант. Вы, похоже, не верите мне. Ну, показать вам мне особо нечего после того, как он закончил колледж, только немного поэзии, да и та... – из запертого ящика он достал «Бумаги Пресидио», – ...крайне пикантна. Ну да вы взрослая девушка. – Он передал ей журнал.

Полин прочла строк десять, после чего, невзирая на предупреждение хозяина, томик упал на пол. Полин весьма порозовела – далеко не только от смущения.

– Я остолоп, простите. – Тактично мистер Прюэлл даже не улыбнулся ее незадаче. – Вам придется поверить мне на слово. Знаете, отцы такого обычно не одобряют.

– Кто она была?

– И пока не забыл: не рассказывайте Оливеру о стихах. Мне не полагается о них знать.

Полин дала слово. Отцу Оливера она пообещала бы что угодно.

– Сладкая песня, не забыл? – упрекнула она Оливера в тот вечер.

– Как я мог? Это ты, похоже, забыла. – Он поцеловал ее в губы. – Давай встретимся в «Банях Мевилл» в одиннадцать.

– В банях? Утром?

– Попроси себе комнату тридцать два.

Оливер знал, что время пришло. Свежий пыл Полин едва ли удивил его; так подтвердилась вера в то, что могущество липнет к тем, кто его презирает.

Оливер предался с Полин буйной любви – его поэзия ожила. После бань он наслаждался ею и в других маловероятных и даже более публичных местах: в домике на дереве, на залитой лунным светом площадке для гольфа в Гейзер-парке, на дне гребной шлюпки на озере Люзёрн. Кроме того, они проводили долгие дни в его комнате у миссис Куилти. Ртом своим он делал такое, что она никогда и не осмеливалась вообразить. Он изобретал ей переживания.

Буйство его не было притворным. Вновь разыгрывая то, чему его научила Элизабет, он все это присваивал: оно становилось доказательством его мастерства. Оливер наблюдал, как Полин влюбляется в него, с глубоко прочувствованной радостью.

Он знал, что ей захочется за него замуж. Позволил ей затронуть эту тему самой и сказал:

– У тебя такой образ жизни, какой я не смогу себе позволить еще много лет.

– Буду питаться кашами три раза в день. Собирать крышки от коробок<sup>22</sup>.

– Об этом я и говорю.

– Я просто хочу жить с тобой вечно. Это ж не может слишком дорого стоить. – Оливер пожал плечами. – Устроюсь на работу.

– Возлюбленная моя, в наши дни квалифицированные *мужчины* сидят без работы.

– Говорю же тебе, я кое-кого знаю.

– Ты роскошная деваха, Полин, но тебя готовили к праздной жизни. Что скажут наши друзья, если я позволю тебе работать? Сам я и на двух работах бы трудился, если б мог, но в сутках недостаточно часов.

– Ой, я не хочу, чтоб ты работал *больше*, я хочу, чтобы тебе вообще не надо было работать – в конторе, во всяком случае.

– Что же ты предлагаешь мне – сделать книгу из записанных ставок?

Полин это приняла за возможную остроту.

---

<sup>22</sup> Имеется в виду поощрение потребителя подарком, возвратом части средств или премией в обмен на крышку упаковки или этикетку как доказательство приобретения товара.

– Попроси отца помочь. Он считает, что я тебе гожусь.

– Он и *так* помогает. Зарплату мне платит.

– Поспорить могу, он бы тебя устроил.

– Будь я сам по себе, мне бы хотелось показать, что я справлюсь один, а не на *его* деньги. – Полин улыбнулась. Там, где Оливер имел в виду заведение собственного дела, она представляла себе поздние ночи за пишущей машинкой.

– Мы же можем хоть что-то сделать – я же могу. Ох, ну почему я такая простофиля? – Оливер очень притих: как будто бы, держа на руках хорошие карты в азартной игре, ждал, чтобы противник его пошел первым. – Если б только... – говорила Полин, и Оливер не шелохнулся; да и следующую сигарету не закурил.

Полин решила не рассказывать Оливеру о своих истинных ожиданиях. Она честно верила, что это пустяк: денег ей доставало всегда, им хватит. Вместе с тем она видела: чтобы убедиться самому, Оливеру нужны ощутимые перспективы.

Мод хотелось, чтобы она вышла замуж удачно. У Мод имелись лишние деньги. Поделится ли она ими? Почему ж нет? Оливер так и не узнал, какая обида установилась тогда между сестрами. Полин сказала ему лишь, что попросит Мод сдвинуть вперед дату ее вхождения в наследство. Оливер эту ложь принял и отмахнулся от нее – завещания не так-то легко изменить. Ему было все равно. Он по-своему был к деньгам безразличен так же, как и она. Ему и так доставалось то, чего он хотел больше всего: Полин вверяла ему все, что у

нее было.

Два дня спустя Полин сообщила, чего она добилась от Мод: карманные деньги ей удвоят, отцов дом в большом городе переписут на ее имя. На Оливера это произвело впечатление. День он нарочито сопротивлялся, затем уступил, чересчур довольный, чтобы провозглашать всему свету, что эта бойкая, красивая, желанная молодая женщина предпочла всем остальным его.

Чтобы объявить об их помолвке, мистер Прюэлл устроил прием. Мод не явилась – она путешествовала по Европе. Не вернулась даже к свадьбе в октябре. Из-за страха войны поезд из Вены отменили, и Мод опоздала на пароход. Оливер мог бы догадаться и о других причинах; он был слишком счастлив, чтобы их искать. Как автомобилист, обнаруживший короткий путь на своем ежедневном маршруте, как солдат, выполнивший боевую задачу без кровопролития, как писатель, экономно донесший свою мысль, он черпал счастье из собственной действительности. На помолвочной вечеринке он осознал, что те деньги от семи скверных ставок Полин, что он оставил себе, покрыли все его расходы на ухаживания за ней, вплоть до последнего ужина и выпивки. Он не смог себе отказать в том, чтобы сообщить ей об этом.

– Ты хам и невежа, – сказала она, – раз подверг меня такой пытке ни за что ни про что.

– Но деньги же все равно у нас!

– А если б я выиграла, а?

– Ты восхитительна и очаровательна, но когда доходит до практических дел, оставь их мне.

Нотка серьезности в его словах на Полин подействовала.

– Я всё хочу тебе оставить! Кстати – как насчет свидания у тебя в доме на дереве?

Оливер обнял ее и пощипал губами за брови.

– А не подождать ли нам? Давай нашу брачную ночь превратим во второй первый раз.

– Ты шутишь... нет? Ладно, как скажешь. – На миг она почувствовала, что ее душит знойный жар его благожелательности. Ей хотелось положить руку ему на член, прямо перед его родителями, на виду у их друзей. Она лишь спросила: – Больше никакого домика на дереве? Никакой миссис Куилти?

Оливер с улыбкой покачал головой. Он никогда не совершит этой ошибки, не спутает Полин с Элизабет – или ее потребности со своими нуждами. Она принадлежала его грядущей жизни – той, что тянулась теперь перед ним чередой упорядоченных, сдержанно освещенных комнат: выложенный мраморными плитами вестибюль, где у дверей ждала Полин в длинном золотом платье; наверху гостиная, обставленная в стиле Людовика XV, с несколькими кушетками, заваленными подушками, и креслами, накрытыми мягчайшими серыми и бежевыми чехлами, их праздность оттенена формальностью рояля в вечернем наряде; столовая, где стол красного дерева, едва ль не черный при свечах, окру-

жали дружки в смокингах, курившие сигары и пившие портвейн; берлога в цокольном этаже с честерфилдовым диваном и креслом, в рабочем столе полно секретов, свой отдельный телефон – в таком убежище хорошо исследовать одиночество, дарящее светскому человеку самое стойкое наслаждение. Полин принадлежала той перспективе, в которую он мог вступить без малейшего угрызения совести, без малейшего усилия. Хоть относительно этой перспективы он почти и не дерзал претендовать на какую бы то ни было оригинальность, тем не менее гордился он ею как собственным творением – быть может, потому, что настолько целиком ощущал себя ее обладателем.

Самоуважение Оливера не ослабло, когда, много позже, он выяснил факты супружнего наследства. Ни разу открыто он не попрекнул Полин, да и, сказать правду, откровение это вызвало в нем чуть ли не благодарность. В конце концов, оно подтвердило, что Оливер наделен правом всем управлять, правом проявлять снисхождение и жалость, правом повелевать.

# Оуэн и Фиби: I

## Лето 1961 – лето 1963

Много лет спустя, в то же первое июля, когда Аллан Ладлэм обнаружил Элизабет, и в том же городке, Оуэн Льюисон распорядился, чтобы его банк в большом городе перевел крупную денежную сумму его дочери Фиби, которой наавтра исполнялся двадцать один год.

Не впервые уже Оуэн решал обеспечить свою дочь: двумя годами ранее он ей сообщил, что учреждает доверительный фонд, чтобы предоставить ей собственный источник дохода.

Беседовал с нею он в середине августа, когда они сидели на улице под сенью кленов. За размытыми далями паривших полей и холмов припадал к земле синеватый Адирондак. Фиби вспыхнула под своим влажным загаром.

– Папуля! Чем я заслужила...

– Продолжай – ты все делаешь замечательно.

– Ты не о школе говоришь? Это даже не...

– Еще как считается. Но это не награда. Я хочу, чтоб ты сама распоряжалась своей жизнью.

– Папуля, я планирую пойти на работу...

– Что ж, я *хочу*, чтоб ты работала.

– Тогда...

– Но чтоб у тебя оставалось пространство для маневра.

Чтоб ты могла выбирать. Чтобы тебя сразу не соблазнил какой-нибудь обеспеченный хлыщ. Двести в месяц должны в этом деле пригодиться.

– Это же баснословно, папуля...

– А если повезет, сумма вырастет.

– Папуля, а что, если... – Она замялась. – Что, если случится что-нибудь особенное – вроде покупки машины? Не то чтоб мне хотелось, но...

– Попросишь меня. Мне будет в радость.

Оуэн пояснил, что контролировать капитал будет он:

– Это нужно, чтобы средства росли. Ты же согласна с тем, что у меня получится лучше? И к тому же понимаешь, что ошибкой будет истощать его на что-нибудь вроде машины.

Конечно же, Фиби согласилась. У нее уже начал вырабатываться план. Знать, что у нее будут свои деньги, – это оживить одно особое желание.

Той весной у себя в колледже она побывала на факультативной лекции. Выступать студенты позвали первого длинноволосого взрослого мужчину, какого она в жизни видела. Носил он сапоги и джинсы, замшевую куртку и галстук-шнурок. Жил в Скалистых горах и рассказывал о тех краях девственной глуши. Говорил о вторжении городского человека в эту глухомань. Говорил о коррупции в капиталистическом обществе, о том, как она унижает все, чего б ни коснулась, включая отдельные личности, – а все потому, что нужно извлекать выгоду. Глухомань, сказал он, поощряет личность

оставаться просто-напросто собой: люди вынуждены приобретать такие знания, которые оказываются непревзойденно полезными для того, чтобы вести счастливую, самоподдерживающуюся жизнь. Своим политическим идеалом он издавна считал революцию, но теперь видел, что час для революции еще не настал. Пока же такое время не придет, он рекомендовал отринуть общество. Никто не спросил у выступающего, чем люди в глуши занимаются по вечерам. Фиби и ее сверстники, обычно такие скептики, заглотили предложенные заповеди с восторгом.

Вскоре после она познакомилась в большом городе с молодым человеком, который воплотил собой виденье того лектора. Грядущий год он намеревался провести в Нью-Мексико лесником. Она ахнула от восхищения, что вызвало его предложение: а поехали со мной. Пусть и нависал он над нею весь золотой и громадный, Фиби даже тогда не могла помыслить о такой перспективе. Теперь же она ему написала: он не шутил? В ответ он позвонил и подтвердил, что нет, не шутил.

Когда Фиби объявила, что бросает колледж, чтобы отправиться охранять лесные угодья юго-запада, Оуэн, не куривший лет десять, машинально схватился за пустой нагрудный карман. Он счел, что его обвели вокруг пальца.

Ума Оуэну хватило, чтобы скрыть такие чувства и пуститься в торг. Поначалу выразил лишь удивление, заметив, что вести подобную жизнь – дурацкая для нее затея, судя по всему: на такую работу она не способна. Фиби утверждала,

что способна; в верховых походах она была звездой, держалась лучше многих мужчин. (Сам виноват, размышлял он, вырастил ее как мальчишку. А вот ее брат – ребенок домашний.) Возможно. Но зачем бросать всего за два года до конца бакалавриата? Она ответила, что диплом по искусству от прогрессивного колледжа нынче много веса не имеет – он может ей даже навредить. Оуэн спросил: а само искусство? Десять лет она хотела стать профессиональным художником. (Оуэн в силах был принять такую возможность. Он не рассчитывал, что его девочка поступит в школу права, а все признавали, что талант у нее настоящий. Ей следует и дальше учиться живописи. Впоследствии, вероятно, и вырастет из таких занятий – или же преуспеет в них. Он представлял себе, как навещает ее тогда в городе...) Искусство, сказала Фиби, и что такого замечательного в искусстве?

– Буду заниматься чем-то настоящим.

– Даже Маркс кое-что в этом соображал – помнишь его «производительный труд»?<sup>23</sup> А в том, чтобы пялиться на деревья, ничего производительного нет.

– Папуля, ты же сам сказал – пространство для маневра...

– Я имел в виду, чтобы достичь чего-то в мире – в «настоящем» мире. А не сбегать от него.

– Ты заберешь деньги?

Оуэну хотелось знать больше.

---

<sup>23</sup> См., напр.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 26, ч. 1, с. 133–134, перев. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

– Эти «друзья» в Нью-Мексико – среди них есть твой мальчик?

– Чего ты так боишься? Не собираюсь я там всю жизнь провести. И он не мальчик, он мужчина, – не сдержалась и добавила Фиби.

Оуэн боялся – не того, что воображала Фиби, а того, что его отставят в сторону. Он искренне желал Фиби свободы и видел себя ее частью.

– Тыпустишь псу под хвост пользу девятнадцати лет. Ты слишком умна для первобытного леса...

– Но это же то, чему я *не* выучилась...

– ...и если желаешь удрать с «мужиной», так и скажи, Христа ради.

Конечно, мужчина был – кто-то же должен был стать предлогом для перемен. Фиби попала впросак, защищая этого человека, которого едва знала. Поставила себя в неудобное положение; вынудила себя злиться; хваталась за оправдания.

– Как только я чего-то хочу, ты увиливаешь.

– Фиби, я был бы безответственным...

– Херня, ты желаешь управлять моей...

– ...ради твоего же блага. Следи, пожалуйста, за языком, когда со мной разговариваешь.

– Благо – это то, что *ты*... Вот для чего нужны деньги – чтоб еще больше зависеть...

– И думать не смей про Нью-Мексико.

– До свиданья, папуля. – Она ушла до того, как расплака-

лась. (Как мог этот умный человек так тупо себя вести?)

Гуляла Фиби два часа. Вернувшись домой, позвонила кое-куда по межгороду, сложила две сумки и успела на вечерний автобус в большой город.

Уехала она до того, как домой вернулась мать; Фиби позвонила Луизе на следующий день, чтобы объяснить свое решение. Потом она с нею связи не теряла, чтобы оба ее родителя всегда знали, что «с нею все в порядке». Прежде чем Оуэн увидел ее вновь, прошло восемь месяцев.

Из большого города Фиби так и не уехала: перспектива жить в глухомани с золотым юношей быстро утратила свою привлекательность. Недолго она пожила с семьей подруги по колледжу. Осознала, что первая ее задача – зарабатывать себе на жизнь. Ее старая преподавательница живописи помогла ей подыскать работы натурщицы; смелость позировать ню придала ей уверенности. Она предложила себя нескольким фотографам, некоторые снимали моду, один среди множества привлекательных черт пронизательно различил ее стройные ноги и лодыжки. Он специализировался на обуви. Через четыре месяца после отъезда из дома Фиби стала профессиональной натурщицей ниже колен. Несколько хорошо оплачиваемых часов в неделю хватало на все ее нужды.

Пока Фиби училась себя обеспечивать, преподавательница познакомила ее с несколькими художниками. Фиби сходила к ним на выставки, навестила мастерские, пообщалась

с ними после работы. Их жизнь пришлась ей по вкусу. Их еще не перебаламутило буйным рынком; «Кедровый бар» по-прежнему оставался процветающим клубом<sup>24</sup>. Их работа наполняла ее страстью к подражанию – не какой-то одной манере, а скорее чудной одержимости, какую различные манеры выражали. Фиби возжаждала собственного стиля.

Она и не воображала, будто что-то знает. Она готовилась к художественной школе, надеясь, что ее примет Хофманн<sup>25</sup>, и тут сходила на выставку художника по фамилии Трейл – ее преподавательница часто его упоминала. Эта небольшая ретроспектива – первая за много лет – демонстрировалась в галерее на Восточной Десятой улице. В свой первый заход Фиби провела там час, а на следующий день вернулась опять – и на следующий снова, чтобы наверняка удостовериться, что в Уолтере Трейле она «встретила своего мастера». Она решила именно им его и сделать.

Оуэн восхищался б ее оборотистостью. Она убедила друзей своих друзей представить ее Уолтеру, а потом и рекомендовать ее. Устроила так, чтобы ему о ней почаще напоминали, – к примеру, прохаживалась мимо него в «Кедровом», опираясь на услужливую руку де Кунинга<sup>26</sup>. Когда наконец

---

<sup>24</sup> *Cedar Street Tavern* (1866–2006) – бар и ресторан на восточной стороне Гренич-Виллидж в Нью-Йорке, место, популярное у писателей-битников и художников – абстрактных экспрессионистов.

<sup>25</sup> Ханс Хоффманн (1880–1966) – американский художник и преподаватель немецкого происхождения. Преподавать он прекратил в 1958 г.

<sup>26</sup> Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский художник – абстрактный

она у него объявилась – с шестью рисунками, благопристойно размытыми, дабы походили на нечто оригинальное, – он сразу же встал на ее сторону. Посмотрел на рисунки, затем на нее саму и принял ее просьбу стать его подмастерьем. Она будет выполнять за него работу по дому, время от времени позировать ему и работать под его наставничеством.

Уолтер жил на углу Бродвея и Девятой улицы в здании для мастерских; Фиби он нашел студию с кухонькой на этаже под собой. Для нее началась новая жизнь. Уолтер к своей роли отнесся всерьез. Между тем, что он заставлял ее делать для самого себя, и тем, что велел ей делать для себя, у нее едва оставалось время выставлять напоказ свои ноги.

Теплым моросливым утром в середине апреля, через два месяца после того, как Фиби переехала, визит ей нанес Оуэн. Она сказала ему встретить ее у Уолтера, где дверь никогда не запиралась, и он поэтому мог попросту ввалиться; что он и сделал, слегка спозаранку, совершив незнакомое путешествие в нижний Ист-Сайд быстрее, нежели рассчитывал. Поначалу Фиби он не увидел. В дальнем углу громадной комнаты Уолтер Трейл набрасывал обнаженную натурщицу, и ее вид притянул взгляд Оуэна. Натурщица не сидела неподвижно: она медленно вращалась под пристальным взглядом художника, как будто исполняла скользкий танец, по очереди ложилась, приседала, вставала на колени, меняла одну позу на другую с замедленной размеренностью, поразившей

Оуэна и своей безликостью, и гипнотизмом. Женщина была молода: кожа у нее рдела, соски смотрелись единообразно розовыми. Он заметил проблеск розовых губ в скольжение ее бедер, а затем длинные волосы скользнули прочь с ее лица – лица Фиби.

Оуэн сказал себе: это заговор. Заметив его, Фиби произнесла:

– Ой, тьфу!

Уолтер отложил угольную палочку, обтер почерневшие пальцы белой тряпицей и протянул руку своему обалдевшему гостю.

– О – мистер Льюисон! Полагаю, такого не планировали ни вы, ни я. Извините – просто пытаюсь успеть один последний рисунок. – Оуэн проследил, как попка Фиби скрывается в спальне. Уолтер произнес: – Она великолепная натурщица. Умеет двигаться.

– Вот как?

Уолтер ковал железо, пока горячо:

– Она *действительно* умеет двигаться. А не просто лежать тут, как натюрморт. Знаете, это французы его так называли – «мертвой природой», но кому ж захочется, чтоб его натурщица была трупом? Как будто играют в «умри-замри-воскресни», а мы делаем вид, будто они для нас «задачи на форму». Вот и говорите об отношении к женщине как к вещи! То есть зачем оставлять за скобками желанье, живость, когда пишешь ню, их просто *нельзя* упускать, это, вероятно,

самое настоящее, что тут есть, – помните Ренуара: «Я пишу своим пенисом»?<sup>27</sup> Поэтому когда Фиби... – возведенные горе глаза Оуэна напомнили Уолтеру святых Перуджино<sup>28</sup>, – ... сказала: «Давайте я попробую все время двигаться», – чтобы я не переставал видеть в ней жизнь, я ответил: «Ладно», – и все получается. Знаете, в каком-то смысле я не ее пишу, а ее...

– Это до крайности интересно, – сказал Оуэн, когда его дочь, уже одетая, вернулась в мастерскую.

– Она замечательная девушка в далеко не единственном смысле, – подытожил Уолтер.

Оуэн повел Фиби обедать. В одежде та казалась Оуэну такой же лучезарной и незнакомой, как и без нее.

– Папуля, – произнесла она, когда расселись, – я хочу кое-что сказать сразу. – Оуэн подумал: плохо дело. – То, что ты прошлым летом устроил мне веселую жизнь, – лучшее, что со мной вообще могло случиться. Благодаря этому я научилась управляться с собственной жизнью.

– Едва ли в этом моя заслуга.

– Твоя-твоя. Отнять у меня деньги – это было здорово. Мне теперь удастся самой за себя платить. Когда ты зашел в

---

<sup>27</sup> Нечто подобное французский художник-импрессионист Пьер-Огюст Ренуар (1841–1919) мог произнести в разговоре с журналистом, о чем в биографии отца (1962) сообщил французский кинематографист Жан Ренуар (1894–1979).

<sup>28</sup> Пьетро Перуджино (Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи, 1446/1452—1523) – итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель умбрийской школы, учитель Рафаэля.

мастерскую Уолтера (ну не душка ли он?), я осознала: пользу папули иногда способны приносить, даже если они гады. Я тебя за это люблю. Я правда люблю тебя, папуля. Надеюсь, ты меня хоть немножко одобряешь.

– Ты хорошо выглядишь.

Оуэн вбросил пару намеков на ее частную жизнь. Фиби ответила, что на мужчин у нее нет времени (она имела в виду – на одного мужчину).

– А твой дружок-«душка»?

– Да он же *твой* ровесник, папуля. Почти.

– О чем и речь.

Посещение студии Фиби почти убедило его. Не-слишком-уж-большая комната, светлая даже в промозглый день, отражала целеустремленную жизнь: узкая тахта, стул, кресло, погребенное в стираном белье, на кухоньке стол, заваленный отходами завтрака – несомненно, на одну персону. Стены увешаны рисунками, гуашами и ненатянутыми холстами; весь пол под ними уставлен подрамниками, полотнами и бумагой в рулонах, лабиринт банок с краской, открытых и закрытых. Стояло два мольберта, большой и маленький, а у окна, с крутящимися стульями по бокам, – лист толстой фанеры десять на четыре, установленный на козлы, и на нем – нисколько места, свободного от профессионального беспорядка.

– Эгей, – спросил Оуэн, морща нос от скипидара, – ты тут *живешь*?

Фиби открыла окно. Обернувшись, увидела, как Оуэн рассматривает холст на мольберте побольше.

– Ой, да не говори вообще! Меня тут с ума это сводит. С тех пор как мы сошлись с Уолтером на той выставке в январе, мне хотелось скопировать одну его картину, вот только сам он и слышать об этом не желал. Я никак не оставляла его в покое, и однажды он ответил: «Ладно, сама напросилась». Он заставляет меня не срисовывать все в точности. Я должна добиться того же тем же *способом*, что и он. Это определить он может – знаешь, наносится ли фактура мягкой кистью или жесткой или краска разравнивается ложкой, а не мастихином. В какую сторону у него двигалась рука. Что он пил накануне вечером... Эта у меня самая любимая из всего, что Уолтер написал. Старая – «Портрет Элизабет».

– Жизнь у Элизабет, похоже, была нелегкая.

– Я ее уже четыре раза соскабливала. Не думаю, что вообще когда-нибудь справлюсь. Но всякий раз, когда пытаюсь, у меня возникает пятьсот пятьдесят три новых замысла. Если тебе тут что-нибудь понравится, папуля, только попроси.

Из стопки на столе он выбрал автопортрет мягким карандашом. Глаза Фиби озадаченно смотрели с листа прямо на него, и в последующие недели он частенько смотрел в них ответно – с той зачарованностью, что состояла из обиды, томления и неуверенности. Он осознал, что восхищается дочерью. От мысли, что увидит ее снова, он робел.

В те дни Оуэн часто приезжал в город без Луизы. Позво-

нив Фиби перед одним таким визитом, он как бы между прочим сказал:

– Не хочу тебе досаждать...

Она ответила:

– Уж лучше б досаждал!

Он предложил вывести ее куда-нибудь вечером. Где ему забронировать столик? Не хочет ли она, к примеру, в театр?

– Не особо. Давай поглядим, как нам будет. Что б мы ни делали, мне понравится. Заходи ко мне, выпьем. Может, просто останемся дома и посмотрим «Золотое дно»<sup>29</sup>.

Оуэну хотелось обходиться с Фиби не хуже, чем обходился с ним его собственный отец. У того, трудолюбивого мелкого предпринимателя, карьера оборвалась в смертоносной автомобильной аварии, когда Оуэн доучивался в Анн-Арборе последний год. В свои двадцать один Оуэн оказался владельцем фабрики в Куинзе, поставлявшей карандашным производителям обогащенный графит. Мало что понимая в предпринимательстве, он согласился ею управлять: организовано производство было хорошо, и он знал, что научится всему быстро. Через несколько месяцев у него на складе вспыхнул пожар и уничтожил весь товар и половину фабрики. Счетоводы призвали его собрать страховые выплаты и списать то, что осталось от фабрики. При этом он совершил значимое открытие.

---

<sup>29</sup> *Bonanza* (1959–1972) – американский телесериал-вестерн на канале Эн-би-си, созданный сценаристом и продюсером Дейвидом Дортортом.

На пожар примчались две пожарные бригады. Делать свое дело они отказывались до тех пор, пока Оуэну не хватило мозгов каждому предложить по двадцать пять долларов (в то время – недельная заработная плата). Предприниматель поопытнее мог бы знать, что подобная практика – общее место, а вот Оуэн возмутился – настолько, что вписал эту взятку в свои требования страховой компании и тем самым символически осудил ее. Никакой компенсации он не ожидал. Тем не менее требование это оплатили.

Из такой нежданной удачи Оуэн вывел заключение, которое со временем преобразовалось в план; его он подал одному старому другу, который как раз заканчивал Школу права Колумбии. Друг откликнулся благожелательно. Оуэн предложил ему войти с ним в долю, а рабочим капиталом взять те деньги, которые получил за пожар.

Оуэн осознал, что мелкие предприятия вроде отцовского, у которых мало резервного капитала и они зависят от высокой производительности, – на милости одного-единственного бедствия. Задержка в компенсации страховщиков – у него все это заняло год – может разорить их подчистую. Такие компании неохотно станут выдвигать смежные требования, которые способны задержать урегулирование. Оуэн предложил создать такую службу, которая будет заниматься теми случаями, когда предприятию повредило природное бедствие: основные требования возмещать сразу, а свою прибыль получать за счет косвенной ответственности, по-

крываемой страховкой. Исход взаимодействия Оуэна с пожарным депо предполагал, что такая прибыль может быть крупной.

Оуэн с партнером учредили компанию, предоставляющую такую услугу. Первых своих клиентов выбирали очень тщательно. Сами же были прилежны, умны, способны на непреклонное упорство и даже везучи. Предприятие их оказалось настолько преуспевающим, что через пять лет одно их присутствие в том или ином случае убеждало страховые компании улаживать все быстро, а не рисковать непредсказуемыми судебными тяжбами.

Оуэн процветал. Карьера принесла ему не только состояние, но и удовлетворение: его предприимчивости и находчивости постоянно бросали вызов; он чувствовал, что приносит пользу малым предприятиям, а впоследствии – предприятиям и не таким уж малым. Успех ввел его в общество традиционно зажиточное – общество банкиров и профессионалов, ставивших себя выше непритязательных предпринимателей вроде его отца. Оуэн завидовал той уверенности в собственной особости, какую эти люди выказывали. Поскольку он и преуспевал, и был сговорчив, приняли его с распростертыми объятиями. Когда пришло время, он женился на юной даме, которая хоть и беднее его, но принадлежала к почтенному филадельфийскому семейству.

Весь их брак Оуэн оставался предан Луизе. Вскоре она подарила ему то, чего он от нее больше всего хотел: ребен-

ка, и в особенности – дочь. Обе ее беременности он с такою силой ждал их разрешения, что Фиби, родившись, уже была средоточием всех его желаний.

Отцом девочки Оуэн стал с облегчением. Можно было хопить ее счастье – свое собственное счастье, – не заботясь о добродетелях боевого духа и методичности, требуемых от мальчиков. Надзирал за ее образованием как в школе, так и вне ее. Сделал все, чтобы она рано научилась плавать и скакать верхом, а позже – стоять на лыжах и играть в теннис. Брал ее на балет, чтобы разжечь в ней трепет, а затем отправил в балетную школу. При первом признаке пробуждающегося интереса показывал ей книги, пьесы и музыку, а чтобы поддерживать в ней рано развившиеся художественные наклонности, бесперебойно снабжал ее всем, что ей может для этого понадобиться, – от пластилина и карандашей в три года до масла и акрила в тринадцать. Он оставался последовательно любящим, требовательным родителем. Добродушная и сообразительная Фиби процветала под его приглядом. К семнадцати годам та удовлетворенность, какую она в себе чувствовала, лучилась из нее, как белизной сияет снег. Оуэн радовался своему родительскому успеху. К тому времени в работе не осталось для него почти никакого дерзновения – она сделалась средством скорее не достигать, а сохранять. Удивительные победы он теперь начал искать в Фиби.

Десятью месяцами раньше их ссора и отъезд Фиби породили в нем яростное разочарование. Теперь же, когда

они примирились, он ее по-прежнему не понимал. С убедительной искренностью она поблагодарила его за то, что он «гад», – странное заключение, какое можно вывести из девятнадцати лет его щедрот.

Он пришел к ней в студию в семь, кроткий час вечера в конце июня, когда знойный чистый воздух весь пропитан коричным жаром. Фиби приготовила ему охлажденные «буравчики» без шейкера. Что же им делать? Выплыли в нескончаемые сумерки. Она повела его в мясной ресторан рядом с Гринвич-авеню – фасонистый, но не оглушительно. Из-за их столика Оуэн сторожко озирался. Здесь-то богема, по крайней мере, казалось, пощадит его.

Вино с берегов Тразименского озера, которое он никогда не видел, да и не увидит, открыло у него в уме просторы воспоминания и предвкушения. Он было начал рассказывать Фиби о каком-то случае из его прошлого, когда к их столику подвалил крепкий молодой щеголь и рукой изобразил приветствие:

– Приветик, Фиб.

– Мой отец Оуэн. Хэрри.

– Без балды! – заметил Хэрри. – Слышь, ляля, в «Эль Пуэбло» в десять Боб дует. Думал, мож, тебе надо за чем. (Оуэн спросил: «Дует куда?» – Фиби ответила: «В рог».)

После ужина Оуэн с сознательным благорасположением произнес:

– Почему б и нет? – Они побрели за шесть углов на Ше-

ридан-сквер. Где-то выше по реке почти темное небо вспыхивало преломленным фейерверком. – Это же французский рожок, – неодобрительно заметил Оуэн, искушенно рассчитывая на трубу или саксофон.

– Такова жизнь, – хмыкнула Фиби.

– А Боб – это кто?

– Скотт, – прошептала Фиби. – А это Вуди Вудуорд на альте, Док Айронз на вибрафоне и Папаня Дженкс за барабанами.

Трое черных и один белый, все молодые, ровно в десять они заполнили сумрак «Пуэбло» бряцаньем до того изощренно сладким, что Оуэн ощутил, будто его околдовали. Воздух сдобрился зеленым запахом.

– Они очень хороши, – воскликнул Оуэн.

Фиби казалась довольной.

– После этого отделения могут к нам подсесть.

Оуэн ощутил укол. Он-то разговаривал лишь с теми неграми, кто на него работал. Насколько хорошо Фиби знакома с этими?

Она поясняла:

– Уолтер у них как бы покровитель – по крайней мере, он им это выступление устроил.

Когда, невозмутимые, в белых рубашках, музыканты расселись за их столиком, на Оуэна они не обратили ни малейшего внимания. Несколько клиентов заведения подошли на поклон, среди них – Хэрри. А во всем прочем они сидели

вместе тихонько и удовлетворенно, как будто после долгого дня устроились на веранде поглядеть, как над кукурузными полями – или Тразименским озером – восходит луна.

В половине двенадцатого Папаня Дженкс допил свой стакан.

– Оуэн! – Тот выпрямился, как задремавший школяр, которого застали. – Хотите что-нибудь послушать?

– Э-э... «Всё, что ты есть»?<sup>30</sup> – наобум отозвался Оуэн.

– Годно. Годно? – спросил он у остальных.

– Как там тот переход...

– Вниз по большой терции. От соль к ми-бемоль, как в «Давным-давно»<sup>31</sup>. – Оуэну он добавил: – Мистер Кёрн внимательно учился у Шуберта – и был бережлив.

Они вернулись к своим инструментам. К Фиби резко склонился молодой человек в сшитых на заказ джинсах:

– Западная Одиннадцатая, четырнадцать. Домерич. *Vaut le détour*<sup>32</sup>.

Музыканты снова разразились своим насмешливым торжеством. Балладу Кёрна рассеяли в суете контрапункта.

После Оуэн снова сказал:

---

<sup>30</sup> *All the Things You Are* – песня американского композитора Джерома Дейвида Кёрна (1885–1945) на стихи Оскара Грили Кленденнинга Хэммерстайна II из оперетты «Не по сезону теплый май» (*Very Warm for May*, 1939).

<sup>31</sup> *Long Ago (and Far Away)* – песня Джерома Кёрна на стихи Айры Гершвина из музыкального фильма «Девушка с обложки» (*Cover Girl*, 1944).

<sup>32</sup> *Здесь*: Стоит посмотреть, стоит внимания (*фр., букв.* «ради этого стоит дать крюку»).

– Почему бы и нет? – и они двинулись к востоку, уже в ночи, глубокой, но не темной: сквозь листву гингко свет из окон штриховал тротуары бледно-оранжевым. Воздух едва ли вообще остыл, лишь у переулков мягкие порывы в лицо или загревок намекали на взмахи небесного веера.

После получаса на вечеринке Оуэн спросил у себя, что здесь происходит, если вообще что-то происходит. Должно быть, что-то происходило, поскольку скучно ему не было. Фиби вскоре его бросила – ради его же блага, это он знал: ему будет лучше одному. Он стоял у бара и наблюдал за другими гостями – многие тоже наблюдали. Какое-то время в дальней комнате играл нанятый ансамбль – контрабас, фортепиано, саксофон. Те разговоры, что доносились до него, в основном были светской болтовней, вдобавок к легким подталкиваниям и касаниям, дружелюбным, не очень-то чувственным, что сводило вместе стайки людей и разметывало их. Тайские шелковые занавеси колыхал калифорнийский ветерок. В мягкости этой выжили несколько островков ажитации:

– А потом он у меня спросил: «Если я здесь с тобой в постель лягу, придется ли мне ложиться с тобой в постель и в Нью-Йорке?» – и я ответила ему: «Миленький, конечно же, нет!»

Оуэну не удалось сопоставить лицо с мелодичным голосом. Он не понимал, отчего ему так просто и легко среди тех, кого он не знает, кого, казалось, сами они волнуют не боль-

ше, чем он их, но кто тем не менее не держится ни враждебно, ни безразлично.

В его впечатлениях возникло больше смысла, когда начались танцы. Стерео включилось, как призыв на Страшный суд, где спасутся все. Никто никого не приглашал танцевать, потому что никто ничего не слышал. Люди танцевали или нет. Понятие «пары» развеялось в общей неразберихе, расползшейся по трем комнатам.

Оуэн любил всевозможные танцы. Раньше в том году, когда только возник «твист», он без посторонней помощи навязал его сборищам на севере штата, все еще настроенным на волну Шавьера Кугата<sup>33</sup>. Здесь же твист вслед за конгой ушел в небытие; правил новый, не такой определенный порядок. Оуэн взялся сводить очевидно хаотические движения окружавших его к рисунку, который сам он сумел бы симитировать.

Выйдя на арену, он оказался лицом к лицу с женщиной едва ли моложе – она убедительно напоминала Энжелу Лэнсбёри<sup>34</sup> и держалась со стильным самозабвением. Он попытался следовать ее примеру в танце – и не смог. Вдруг она чуть ли не прильнула к нему – он подумал было, что она собирается его поцеловать, – чтобы визгливо прошептать ему

---

<sup>33</sup> Шавьер Кугат (1900–1990) – каталанско-американский руководитель джазового оркестра, аранжировщик, певец, актер, режиссер и сценарист, один из ключевых популяризаторов латиноамериканской музыки в США.

<sup>34</sup> Дама Энжела Бриджид Лэнсбёри (р. 1925) – британско-ирландско-американская актриса кино, театра и телевидения, певица.

на ухо:

– Не делайте *па*. – Сообразить ему не удалось... – Никаких *па*! – упорствовала она, отводя его в сторону. – Нет никаких правил. Просто закрепите одно бедро в пространстве – пускай это будет вашим центром, так? – а все остальное отпустите. Делайте то же, что и музыка, – что угодно. – Она показала. Он попробовал. – Что *угодно*! – побудила она. – Закройте глаза и слушайте.

Время от времени он останавливался у открытого окна, чтобы остыть. После чего пытался улыбками и жестикуляцией выразить прочим очевидцам свое одобрение новой культуры. Однажды какая-то девушка прямоком повлекла его в самую гущу – словно бы укрепить его обращение; один раз – какой-то юноша. От прикосновения уверенной руки страх Оуэна растворился среди танцующих.

Оуэн перерос радостное возбуждение и обрел беглость – и тут его остановила Фиби. В комнате поспокойнее она познакомила его с Джои, лет двадцати с чем-то, художником с незадачей, в которой Фиби просила Оуэна разобраться: у Джои в мастерской пожар, хозяин отказывается платить за ремонт. Страховка? Не того сорта, если верить хозяину, который, как считал Джои, тянет, чтобы его выселить. Оуэн велел позвонить наутро ему в контору и спросить Марджи; а он ее проинструктирует по телефону. Ему пришло в голову, как легко он может предоставлять свои услуги личностям, столь явно в них нуждающимся.

Вечеринка стихала. Оуэн и Фиби вслед за бандой гуляк спустились вдоль перил из грецкого ореха на каменистую мостовую Манахатты<sup>35</sup>. Рука об руку направились они на запад в поисках «Белой башни»<sup>36</sup>. Оуэн сказал:

– Потом я закину тебя домой. Вот бы сонным быть хоть немножко.

– Ясно! – Фиби повернула их обратно к Пятой авеню. – Ты мне доверяешь?

– С лихвой.

Она уже тормозила такси.

– В Белмонт, пожалуйста. К служебному входу.

– Вам в отель, дама, или на ипподром?

– На ипподром. Пожалуйста, по мосту, – добавила она.

Чтобы посмотреть рассвет.

Не вполне рассвет: таксомотор гладко скользил к меловой пыли, сыпавшейся каскадами со звезд в восточное облако света. Когда они высадились у конюшен, Фиби повела их в кафетерий – наполовину полный, сна ни в едином глазу. Кофе с плюшками они принесли к столику, за которым сидели пятеро мужчин, самый молодой – щуплый черный

---

<sup>35</sup> Точнее – «Манна-хата», первое историческое написание названия местности, ныне именуемой островом Манхэттен, на картах начала XVII в., первоначально – лишь южный кончик самого острова. Впоследствии «манхэттами» голландские поселенцы ошибочно называли индейское племя векангик, чьи охотничьи угодья располагались на острове.

<sup>36</sup> *White Tower Hamburgers* (1926–2004) – американская сеть ресторанов быстрого питания.

подросток, самый старый – чикано лет под шестьдесят. Компания благодушно подвинулась, чтобы Оуэн и Фиби сели, и продолжала основательно обсуждать коня по кличке Прирост Капитала. («От Венчурного Капитала и Без Риска, – пояснила Фиби. – Эти люди работают на Макьюэнов».)

Уолтер Трейл не терял друзей еще с тех лет, когда писал портреты лошадей. Ему нравилось ездить на бега, и Фиби он иногда брал с собой. Она познакомилась с несколькими владельцами, а поскольку лошадей знала – уболтала себе дорожку и на конюшни, и там тоже завела себе друзей.

Отодвигая поднос, один мужчина сказал:

– Давайте его проверим.

Все двинулись к конюшням. Прироста Капитала оседлали и вывели. На тренировочной дорожке молодому черному сказали:

– Шесть фарлонгов, не забудь, и держи потуже. Может, ему все еще больно.

Рассвет превратился в день. Когда коня в конце тренировки подвели к их компании, чикано объявил:

– С ним все в порядке.

– Через полтора месяца забегает, – добавил кто-то. – Эй, Фиби, хочешь горяченького выгулять?

Конь пыхтел, гарцуя к ним боком. Высокий чернокожий придерживал мундштук, а разминочный жокей соскочил и передал Фиби поводья. Конь обернул к ней выпученный глаз, трясая головой, как пловец, которому вода попала в уши.

Фиби недолго постояла рядом, глядя снизу на эту голову и разговаривая с конем, а затем повела животное к конюшням.

– Полчаса хватит, – сказал ей мужчина.

Оуэну его голоногая дочь в короткой юбке казалась тревожно хрупкой рядом с серебристо-серым жеребцом-трехлеткой в мыле собственной мощи. Куда девались все остальные? Ей он не сказал ни слова, опасливо держался подалее; но когда Прирост Капитала вновь вынырнул из-за угла конюшни, Оуэн увидел, как он неожиданно дернул головой назад и Фиби потеряла равновесие. Когда поводья ослабли, конь встал на дыбы, мотая у нее над головой коварными передними ногами и хрипло ржа. Развернувшись, Фиби ослабила уздечку, пока конь снова не опустился наземь и не пригнул голову. Она сделала шаг к нему и перехватила поводья ближе к узде, дернув ими едва ли не до земли, где и удерживала их, налегая всем своим весом. Конь брыкался и дергался вбок, а головы поднять не мог. Мгновенье спустя, к ужасу Оуэна, Фиби со строгим криком: «Ах ты, мать твою» что-то там, – принялась колотить животное кулачком по шее. Вскоре после этого она зашагала дальше, и жеребец послушно двинулся за нею.

Под конец прогулки Фиби объявился владелец Прироста Капитала. Мистер Макьюэн приехал посмотреть на своего коня. Он был доволен, что застал его в добром здравии; Фиби тоже был рад видеть. Их с Оуэном он пригласил в клубное здание на второй завтрак.

Ели теперь они гораздо больше, лучше и дольше, чем в первый раз: фрукты, яичницу, тосты, гречишные кексы, пили кофе из высоких блестящих кофейников. За столом просидели целых полтора часа – в свете низкого солнца с востока, в тенечке раннего утра. Наконец мистер Макьюэн отправился на работу. К Оуэну он поначалу отнесся формально, а тот понимал, что для него сам он не более и не менее чем отец своей дочери, покуда Фиби не вбросила в беседу немного полезных сведений. Под конец завтрака мужчины уже дружески обсуждали дела. Оуэн смотрел на Фиби свежим взглядом.

День начался жарко и сухо. Парочка побродила по ипподрому, где служители готовили перед заездами почву, а воробьи скакали в поисках редкого навоза. Согнувшись, проникли за изгородь, на пустое внутреннее поле. Сели в тенечке на траве. Территорию сторожили толстые малиновки; гайчики в ермолках клевали, пробираясь по густым ветвям; за слитыми вместе прудами на желто-зеленую байку были приклеены вырезанные черные силуэты ворон. С ветерком доносилась дрожь уличного движения, а время от времени – гул с неба. Оуэн опустил голову к коленям.

Фиби тыкала его.

– Папуля, задержись со мной. Тут же славно. – Оуэн согласно хмыкнул. Глаза его не желали открываться. – Про Джои не забудь. – Он кивнул, вздохнул и выпрямился, не вставая. Фиби протягивала ему руку: – Попробуй-ка, папуля.

– Что это?

– Медицинская понюшка. Мне Папаня Дженкс дал – сто-процентно рекомендует, Фрейд тоже.

– Ты уверена?

– Только не чихни.

– Вроде алка-зельтцера в нос.

Он сидел в телефонной кабинке с сокращающимся столбиком даймов, болтал со своей секретаршей, как телекс, передавая ей со всею доступной ему скоростью чистый поток замыслов, бежавший через его сознание. Разобрался с делом вороватого расчетчика. Умерил последствия кончины важного инженера. Насчет Джои велел Марджи проверить страховку здания, обвинить квартирохозяина в преступной халатности и указать, что с помощью Оуэна он может превратиться в честного барышника.

– В каком смысле «все ли со мной в порядке»? В такой день у кого что-то может быть *не* в порядке?

Фиби исчезла. Он поискал во всех комнатах клуба. На террасе Оуэну показалось, что он вскоре может воспарить и улететь. Внутреннее поле оставалось почти пустым – один праздный служитель и еще какой-то мужчина, стоящий недвижно под сенью собственного «стетсона».

– Ему надо продать эту шляпу застройщику. – У него за спиной стояла Фиби, в руках большой бумажный пакет.

В буковой рощице у конюшен на скатерти, разложенной на земле, Фиби накрыла обед: два клубных сэндвича, четы-

ре груши, кус грубого чеддера, морозный термос с мартини. Они поели и попили.

Из конюшен донеслась суета нервных людей и топот копыт. Близилось время первого заезда. Оуэна обуревала приятная непоседливость.

– Пойдем поглядим.

– Подпевалам сейчас не время, – сказала ему Фиби. – Мы будем только мешать.

– Ну а мне хочется поучаствовать в веселье.

– Это и так предусмотрено. Тебе предстоит делать ставки.

Пока они гуляючи шли к клубной трибуне, Фиби сказала:

– Схожу разведую, как там на поле, а с тобой мы встретимся у загона. – По возвращении она провозгласила: – Мой Портрет в шестом.

– Мой Портрет – это лошадь?

– От Вылитой Копии и Моего Дела.

Предпочитая «проверить формуляр», Оуэн купил «Утренний телеграф» и весь день изучал его с почтением талмудиста. Когда они ушли после шести заездов, он потерял меньше, чем мог бы. А кроме того, вернул Фиби деньги за обед, и та их поставила на Мой Портрет, который оплачивался девятью к двум. Выигрыш она сунула ему:

– Я это для тебя сделала. Сама никогда не ставлю.

– Ты... Мисс Отвага?

Фиби убедила Оуэна возвращаться поездом – так быстрее всего, пусть даже он с ужасом думал о «жуткой толчее». В

вагон заходили другие ранние отъезжающие. Казалось, они ведут себя тихо – никаких пивных буянов, никакого «молодняка». Последним пришлось стоять, заполняя проход. Дернувшись и лязгнув, поезд тронулся.

Вскоре Оуэн пожалел, что пренебрег такси. Его стиснули тела выпирающие или истощенные, все одеты согласно некоему извращенному представлению о несмешной клоунаде, на каждом покачивающемся лице отпечаток столичного недоверия. Наконец взгляд его упокоился на паре, сидевшей в вагоне напротив: аккуратно одетые, по-своему довольно симпатичные на латинский манер – он уловил несколько фраз на испанском. У мужчины в белой рубашке с расстегнутым воротом и бежевых свободных брюках было стройное тело, смуглые тонкие черты, волосы соль-с-перцем и черные усики. Женщина в платье из набивного ситца и белых туфельках выглядела моложе – хорошенькая, быть может, с грубоватыми чертами, но такая милая, ее крепкие зубы сверкали, оттененные черными зачесанными волосами. Веселые глаза мужчины поймали взгляд Оуэна в тот миг, когда Фиби ткнула отца в бок:

– Совсем как мы.

Мужчина смотрел ему в глаза с бодрым безразличием. Конечно же, отец и дочь. Как мы: мужчина, значит, «как я». Оуэн искал чувства, похожие на свои, в этом бдительном лице, на котором, пока мужчина смотрел, чуть подрагивали ноздри. Оуэн подумал: интересно, какие знаки оставляют у

меня на лице мои чувства?

Он отвернулся приглядеться кое к кому поближе: к мужчине с багровыми распухшими чертами, короткой соломой волос над розовым выбритым загривком и с пузом, выпирающим из-под гавайской рубашки, не заправленной в низко сидящие на ремне брюки из блестящего синтетического габардина в клетку... И так далее, подумал Оуэн, *ad nauseam*<sup>37</sup>. Ну какое ему дело? Его собственному телу было тепло и оцепенело. Он заметил, что свет за окнами поезда отлип от его, Оуэна, восприятия этого света, и увидел схожую галлюцинаторную перемену, произошедшую с его соседом. Он распадался на разъединенные сущности – сам все еще высился чудовищным пассажиром, держась за ременную петлю, а вот глаза его принадлежали другому телу, иному пространству: сияли далеким светом. За внешностью человека, обращенной к миру, существовал свой собственный свет. То неопрятное тело стало пустым сосудом с самостоятельным светом внутри себя – как тыква в День всех святых. Тыква щерилась ему, как и положено тыквам. Почему? Она отвечала на его собственную ухмылку. Ладно. Оуэн дотянул свою улыбку до небольшого кивка, словно бы говоря: где найдешь, где потеряешь; или: ну и денек был. А потом опустил взгляд. Жуткая толчея – ему-то какое дело? Он робко оглядел остальных поблизости: ветераны одного летнего дня, всяк покрыт своей коркой, в каждом копятя неувязки, боли, стыды, даже при-

---

<sup>37</sup> До отвращения (*лат.*).

знаки счастья, дабы сокрыть этот сверхъестественный свет, – их маски, их жизни. Фиби дремала у него на плече.

С вокзала Пенн она отвела Оуэна сразу к Уолтеру. Тот устраивал ужин, на который она Оуэна пригласила: стряпала она сама.

Какое-то время они оставались одни в мастерской. Фиби хлопотала в кухне. Оуэн стоял у северо-западного окна, глядя в вишневый цвет неба, увешанного гирляндами реактивных выхлопов. Кротом в нем копошился вопрос: что же тут не так? Он им пренебрег и весь отдался виду Джерси.

Пришел Уолтер, за ним – его гости: две женщины, двое мужчин. Каждый держался бодро и любознательно, как собака, спущенная с поводка. Явно все они вели насыщенную жизнь, занимались тем, чего Оуэн распознать не мог. Что такое – или кто такая – социолингвистика? Где же находится Эссален?<sup>38</sup> Поэт-конкретист – это поэт или все-таки прозаик? Кто такой Теодор Хафф?<sup>39</sup> Оуэн был доволен, что можно скинуть пиджак и галстук.

Всем Фиби приготовила напитки (Оуэну – охлажденные «буравчики»). Он не знал, что сказать этим людям. Те не возражали. Хоть он и ощущал, что они остроумны, контекст их острого ума и светского трепа бежал его. Наконец он мыс-

---

<sup>38</sup> Институт Эссален (с 1962) – коммуна в Биг-Суре, Калифорния, основанная Майклом Мёрфи и Диком Прайсом для развития гуманистического альтернативного образования; название институт получил от местного индейского племени эсселен (отсюда «Эссален» у автора).

<sup>39</sup> Теодор Хафф (1905–1953) – американский кинокритик и историк кино.

ленно вновь нацепил галстук и принялся задавать им вопросы. Они, в свою очередь, задавали вопросы ему, и он немного рассказал о себе. Остальные слушали внимательно. Ему удалось снискать себе одобрение за помощь художнику Джою.

К концу трапезы, после того как Уолтер вынудил его разговаривать о работе, Оуэн приоткрыл то, чего Фиби никогда не знала:

– ...Ни у кого из нас не было капитала – лишь страховка после пожара. Но вы правы: чтобы расширить свою деятельность, нам требовалось гораздо больше этого. Мы бы могли раздобыть достаточно средств через банки, но их бы хватило едва-едва – это бы означало, что мы попадаем к ним в кабалу лет на десять – пятнадцать. Загвоздку мы обсуждали не одну неделю и постепенно договорились до решения – вообще-то нас приперло к нему спиной, поскольку было это не только рискованно, но и незаконно. Все случилось двадцать пять лет назад, и я с тех пор незаконно даже не *паркуюсь*. Вот что мы сделали. В портовом районе Нью-Лондона произошел несчастный случай. Буксир врезался в причал, довольно сильно его повредил, но мало того – разлились какие-то бочки с бензином и все там загорелось. Причал принадлежал паромной компании. У компании были высокая стоимость эксплуатации и низкая рентабельность, поэтому хозяева были счастливы, что мы взяли на себя их требования. Мы им тут же выплатили столько, сколько у них ушло бы на ремонт причала. Обычно мы двинулись бы дальше и сами

заработали на вторичных требованиях – вроде потерь ввиду прерывания обслуживания, ущерба деловой репутации, всякого такого. Но мы выяснили, что паромщики застраховались от пожара у одной компании, а от морского ущерба – у другой, более того: хотя само предприятие зарегистрировано в Нью-Лондоне, из-за того что обслуживало оно и другие места, вроде Лонг-Айленда, одну страховую компанию они наняли в Коннектикуте, а другую – в Нью-Йорке. Поэтому, раз причал фактически пострадал дважды: один раз от столкновения, а другой при пожаре, – мы сделали вот что: выдвинули все свои требования к *обеим* компаниям. Могут сказать вам, выдержали мы два очень жутких месяца. Однажды инспекторы из двух компаний разминулись буквально на несколько минут; и, разумеется, узнай они друг о друге, нам бы настал конец. Но нам все сошло с рук. Мы огребли около ста тысяч долларов – чтоб выйти на пенсию, не хватит, но в тридцать седьмом это еще были большие деньги, и мы гораздо уверенней смогли заняться крупными ребятами. Ими мы и занялись. Взялись за дело по-настоящему. Даже не знаю, способен ли я сейчас так же много работать, – завершил Оуэн. – Теперь девяносто процентов своих дел веду по телефону.

Через несколько секунд он заснул.

– Пора в койку, папуля! – прокричала ему в ухо Фиби. В итоге ей удалось его поднять и уложить спать у себя в студии. Их долгий день завершился.

Проснувшись на следующее утро, Оуэн обнаружил записку от дочери: она «ночевала в другом месте»; кофе, хлеб, масло и яйца он найдет в продуктивном шкафчике. За сгущенку извинилась: «Домыв посуду, я уже не в силах была идти за покупками». Поэтому она вернулась к Трейлу. Завтракать Оуэн не хотел. Ему не хватало привычного «Триба»<sup>40</sup>.

Фиби явилась в десять. От ее объятий он растаял. Она сказала ему:

– Папуля, мне нужно тебя вышвырнуть. Похоже, у меня трудный день.

– Весь день без тебя? Даже не знаю, справлюсь ли.

– Весело было, да? Давай играй теперь без меня.

– Ладно. – Он угрюмо добавил: – Я и вправду вчера вечером язык распустил.

Фиби глянула на него изумленно.

– Да ты был потрясный.

– Шутишь.

– Папуля, я просто хочу поработать. Зачем эта мыльная опера? – Оуэн ничего не ответил. – Встретимся на ужин?

Оуэн сказал «посмотрим» и надел пиджак. Чувствовал похмелье. Выйдя на причудливый нижний Бродвей, он уже с нетерпением ждал возвращения в контору.

Весь день Оуэн сам с собой разговаривал о Фиби. В ней ему виделась городская элегантность, талант и страсть к своей работе. Друзья у нее были и сверху, и снизу. Она привле-

---

<sup>40</sup> *Chicago Tribune* (с 1847) – американская ежедневная утренняя газета.

кательна и смышлена. Себя она посвятила ему безоглядно. Чего еще мог желать отец?

Оуэн жалел, что она не потребовала тех денег, что он ей обещал. Быть может, могла бы поучить его рисовать, а он бы ей за это платил. В нем росло раздражение. Квартирохозяину Джои он высказал все, что о нем думает.

Он воображал себя старым и овдовевшим: Фиби о нем бы заботилась. Он бы тихонько следил за ее жизнью краем глаза.

Он не стар, ему не нужно, чтобы Фиби за ним приглядывала. Она жестоко повернулась к нему спиной: тратишь сотню дубов, а наутро – до встречи.

Вспомнив ставку на Мой Портрет, Оуэн безмолвно попросил у нее прощения. Позвонил Фиби и сказал, что с радостью поужинает с нею.

В тот вечер Фиби выглядела усталой и встревоженной. Бывают дни, сказала она Оуэну, когда у нее такое чувство, будто ей никогда ничего не удастся. Под ногтями у нее была грязь, волосы всклокочены, никакой помады. В этих признаках доверия Оуэн видел, что ради него она не желает прилагать усилия. О следующей встрече так и не заикнулась.

Он и дальше тягостно размышлял о ней. Тут что-то не так. Оуэн запутался, и это ему не нравилось. Разлученный с Фиби, он томительно думал о тех сутках, что она ему подарила. Почему не больше? Это первое «почему» вскоре привело к другим. За ними всеми в манящей тени таилось «тут что-то не так». Если больше ничего бы и не было, почему вооб-

ще Фиби им обеспокоилась? Она ж не просто изображала почтительную дочь. Почему его поманила, а потом бросила? Оуэн позволял этим вопросам казаться настоящими у себя в уме, где прорастали кристаллы подозрения, от которых ум затыгивало льдом, словно пруд от обрушившегося мороза.

Оуэн вновь мысленно обозрел время, проведенное с Фиби. Сказал себе, что занятия их она выбрала не случайно. Фиби ему подарила новый опыт с новыми людьми: художниками, джазистами, конюхами, с «прекрасной публикой». Что у них всех общего? Ответ явился Оуэну жарким ветреным днем на перекрестке Мэдисон-авеню и Сорок восьмой улицы. Когда зажегся зеленый, он сделал шаг назад на тротуар и устоялся в мусорную урну железного плетения. Фиби выставляла его на посмешище.

Она преподносила ему урок: все эти новые люди не имеют к нему никакого отношения. Фиби заманила его увлечься занятиями и состояниями, своими не для него, а для нее. Она ему говорила: если тебе так нравится моя жизнь, чего может стоить твоя? Годом раньше он выступил против нее; нынче она ему мстила. Она ему показывала, кто был прав и кто прав до сих пор.

Оуэн нашел нечто ясное и мерзкое, на чем можно оттоптаться. Грубым азартом от подозрения, что его дочь предала его, он пренебрег; наслаждался лишь своим облегчением от того, что нашел всему объяснение. Ему так понравилось это открытие, что его сантименты к Фиби зримо прояснились.

Оуэн виделся с Фиби дважды в августе и один раз в сентябре. Их встречи он пытался сделать совершенно небрежными. Фиби казалось, что он полон решимости испортить то, что у них было общего: одной жаркой ночью подчеркнуто отказался прогуляться по Третьей авеню из-за «всей этой толпы», не пошел на вечеринку, потому что танцевать «уже не весело». Оуэн подобные намерения отрицал бы. Он так тщательно превратился в обиженного отца, что забыл некогда-счастливейшие свои упования. Защищал эту свою личину «невинно».

Время от времени Фиби тыкала в него палочкой. Когда Оуэн отказался выпивать у Уолтера, сказав:

– Сам Уолтер-то ничего, но ты же знаешь, я терпеть не могу его друзей, – Фиби спросила:

– Вроде Джека Макьюэна? – С кем Оуэн не так давно ужинал.

Обычно замечания его она сносила кротко. Потому Оуэн и удивился через некоторое время ничем не прикрытой холодности с ее стороны. Он понимал, что иногда беседовал с нею откровенно: неужто она не гордится широтою своих взглядов? Ее прохладность его не обескуражила, а скорее лишь укрепила в роли ответственного, непонятого родителя.

Его верность этой роли укрепило еще и нечто поувлекательнее. За лето Фиби постепенно поддалась тому, что он сперва считал скверным настроением, затем – психологическим состоянием и, наконец, гораздо позже, – недугом. Со-

стояние проявляло себя медленно и неуклонно симптомами утомляемости, нездоровой эмоциональности и депрессии. За следующие осень и зиму два хороших врача заверили Оуэна, что Фиби страдает от разновидности неврастениии. Под воздействием его собственной страстной убежденности они сочли источником всех ее невзгод неупорядоченную жизнь, какую она вела.

Сколько б ни было ребенку лет, его здоровье остается первой заботой родителя. Оуэн подобрал Фиби лучших врачей, каким только мог доверять. Во всем прочем держался в тени, оставляя за собой право оберегать дочь от главной причины ее расстройства – ее беспутной жизни. Опасаясь упрямой независимости Фиби, он ждал возможности вмешаться. Одна такая возникла под конец декабря. От хронической бессонницы Фиби чувствовала себя изможденной. Ее сопротивляемость инфекциям оказалась подорвана. Когда она заразилась гриппом, тот перерос в бронхит, затем в плеврит. Пришлось перестать позировать; у нее закончились деньги. Узнав об одном только этом от ее психиатра, Оуэн позвонил Фиби и приехал ее навестить.

В студии у нее царил беспорядок; сама она ему соответствовала – хрупкий, бледный изгой. Оуэн приготовил ей чаю, немного поболтал, затем предложил возобновить выплаты из доверительного фонда, который учредил годом раньше. Средства «все там же, ждут ее».

Фиби заплакала. Плакала она, как шестилетка, – долгими

ростными всхлипами.

– Я *правда* на нуле. Я думала, ты махнул на меня рукой.

– Чепуха какая.

– Ты очень жесткий был. Прошлой весной я чувствовала такую близость с тобой, в прошлом июне – кажется, целую вечность назад.

– Я о тебе беспокоился, вот и все.

– Мне так ужасно. Иногда такое чувство, будто я умираю.

– Ты себя не бережешь.

– Берегу. Хожу к врачам и пью все таблетки, а они вообще не помогают – надолго, во всяком случае.

– Скажи мне одну вещь. Ты все еще принимаешь препараты? – Фиби скептически взглянула на него. – Ты можешь мне честно пообещать, что перестанешь их принимать?

– Это тебе у доктора Строба нужно спросить. Он каждую неделю на мне что-нибудь новое пробует.

– Я не о тех препаратах – марихуана, амфетамины, кокаин?

– Я, по-твоему, спятила? В смысле, мне для этого *нужно* было б рехнуться – с тем, как я себя чувствую.

– Дело не в тебе – меня друзья твои заботят. Неужели ты не можешь просто дать слово?

– Не дергайся.

– Хорошо. С твоими деньгами ты можешь теперь хорошенько и подольше отдохнуть и оправиться по-настоящему. Как ты смотришь на недельку на Багамах? Я приглашаю. Ес-

ли это годится всяким Джекам и Мэкам, то почему не нам? И вот еще что... – Оуэн не делал пауз и не менял тон голоса, теплого и настоящего. С чего б ему колебаться? Вид Фиби не только ужасал его – от него он лишь могуче укреплялся в своей решимости: Оуэн знал, что ее тут держит, от чего нужно будет отказаться. – Я хочу, чтобы ты поступила в настоящую художественную школу. В последнее время ты не развиваешься так, как следовало бы. Я знаю, что Уолтер – славный человек, и знаю, как он тебе нравится, – мне он тоже нравится. Но учитель он никудышный. – Оуэну показалось, что сквозь впавшие щеки Фиби он различает ее зубы. Она ничего не ответила. Оуэн договорил: – Это я считаю очень важным для твоего благосостояния. Это первое, что ты должна сделать, перед тем как мы приведем тебя в порядок.

Фиби окинула взглядом студию, ее стены, увешанные работами, которыми Оуэн пренебрег. По лицу ее вновь покатались обильные слезы и закапали с подбородка. Голосом довольно твердым, лишь чуточку сиплым, она велела ему убраться вон.

– Я знаю, это трудно, – ответил он, – и знаю, что ты расстроена...

– Ты проклятый говнюк.

– ...но рано или поздно тебе придется столкнуться с тем фактом, что ты нездорова и несчастлива. Подумай об этом. Спроси у себя почему.

Уходя, Оуэн думал: она очень больная девочка. Он сделал все, что мог. Он был рад, что она в хороших руках. От ее посещения ему стало уныло и вместе с тем как-то приподнято. Оскорбления Фиби вызвали в нем теплый нахлыв того, что он не осмеливался признавать как облегчение.

Он позвонил доктору Стробу сказать, как он обеспокоен. Был бы признателен, если бы его держали в курсе.

В последующие месяцы Фиби становилось хуже: депрессия, бессонница, лихорадочное возбуждение. В конце весны ее положили в больницу с воспалением легких. Врачи отказывались ее выписывать, если она не разрешит им взять у себя определенные анализы. Те позволили определить ее расстройство как обостренную гиперфункцию щитовидной железы, также известную как базедова болезнь. Фиби начали лечить препаратом под названием метилтиоурацил. Его начальное воздействие оказалось незначительным. В начале июня она согласилась вернуться в отчий дом на севере штата – не из-за того, что ей этого хотелось, а потому что на этом настаивала мать, да и ее собственная беспомощность не оставляла Фиби выбора. Через десять недель лечение ее, несомненно начатое слишком поздно, прекратили, и она согласилась на резекцию щитовидной железы в ближайшей больнице, куда и легла пятнадцатого августа.

При предыдущей госпитализации Фиби отношение Оуэна к ней изменилось. Он явно был несправедлив, и ему хватило ума не приплетать сюда благие намерения как отговорку. В

недуге Фиби он винил ее поведение – а это не только обижало ее, но и побуждало врачей, которых он выбрал, упорствовать в их ошибочном диагнозе. Он говорил себе: от нее теперь никогда не стоит ждать того, что она его простит или поймет. Он просто обязан постараться загладить свою вину, как сможет, и молиться, что Фиби отыщет способ оставить его в покое.

Когда она вернулась домой, он целиком посвятил себя программе ненавязчивого и пылкого покаяния. Выполнял все, чего бы ни попросила Фиби, без малейших жалоб. Раскаяние Оуэна соответствовало презрению Фиби. Условием своего возвращения она выдвинула то, что он переедет в гостевую пристройку в дальнем конце дома. Заслышав его голос, она часто просила мать заткнуть ему рот. Иногда она призывала его к своему одру, чтобы только подбросить дров своему пренебрежению. («Каких еще богатых уродов ты сегодня застраховал?») Или требовала от него чего-нибудь (например, читать ей вслух «Двух серьезных дам»<sup>41</sup>; она лила слезы над красотой романа и ярилась на его скуку), как будто он лакей, чью карьеру мошенничеств и изнасилований только что разоблачили. Стоило ему появиться, она уставляла на него свои полные ненависти глаза навывкате. Когда же Оуэну достался Уолтеров портрет Элизабет, он позволил Фиби насмеяться над его мотивами к его приобретению и даже не

---

<sup>41</sup> *Two Serious Ladies* (1943) – роман американской писательницы Джейн Боулз. Пер. М. Немцова.

пытался их ей объяснить. Она так возмущалась тем, что картина теперь принадлежит ему, что пришлось перевезти эту работу из города и повесить у нее в комнате.

Отношение Фиби в нему утешало Оуэна. Оно ему позволяло и дальше играть исполнительного, ныне кающегося отца. Сама роль, трудная и недвусмысленная, продолжала его успокаивать. Превыше всего прочего Оуэн страшился взвинченной неуверенности, в которую Фиби дважды его вводила. Конечно, она все еще опасно маячила у него в будущем. Как она станет себя вести, когда ее вылечат? Скорее всего, захочет с ним примириться. Ее жесткость к нему могла бы стать предлогом к оправданию его собственной несправедливости. Оуэн опасался этой возможности и предпочитал быть наказанным. Ему томительно хотелось, чтобы Фиби жила своей жизнью, а его к ней не подпускала.

Первого июля Оуэн перевел крупную сумму своей дочери. В отличие от доверительного фонда такой расклад делал Фиби поистине независимой. Отец ей больше не надобился. На взгляд со стороны его жест казался щедрым; изнутри же видели, что это выражение надежды и угрызений совести. Оуэн утверждал, будто он выполняет отцовские обязательства. Едва ли способен был он признать свою тягу избежать отцовства целиком и полностью.

В конце августа – уже после операции – Фиби попросила Оуэна навестить ее в больнице. Он приехал под вечер. У нее в палате в темном свечении от опущенных жалюзи и задви-

нутых штор виднелся истощенный человеческий очерк.

После операции Оуэн не видел ее в сознании. Волосы Фиби, коротко остриженные и слипшиеся от пота, выглядели ермолкой на черепе. Восковая кожа обтягивала кости лица. Оуэну стало страшно, отвратительно, его скрутило жалостью.

Поначалу она ничего не говорила – лишь пристально глядела на него огромными невыразительными глазами. Вытянула руку. Тонкая горячая ладонь вцепилась в него. Он не знал ни что делать, ни что сказать; его самого прошибло потом. Наконец она заговорила – высоким голосом, едва ли не хныча:

– Ты мой отец. Мне ужасно. Я не знаю, что со мной. Мне так ужасно, что больше ничего я не чувствую. Много разговаривать не могу. Тебе тут задерживаться нельзя. Я правда хочу, чтоб ты знал... – Из коробочки «Клинекса» рядом Фиби вытянула салфетку и сплюнула в нее. – Хочу, чтоб ты знал... кое-что. Когда мне все чувства стерло, я поняла, поняла кое-что про тебя и меня. Мы с тобой играли в дурацкую игру, оба. Превращали тебя в дерьмо. Играй себе и дальше, это ничего, а я не стану. Я намерена любить тебя, что б ты ни сделал.

Оуэн ощутил, что его окутывают влажным, удушающим саваном. Ему не терпелось удрать из этой палаты и от своей костлявой дочери. Ее хватка стала туже. Он откашлялся.

– Фиби, ты должна мне поверить, я сделал тебе все, что

мог.

Он сам не осознал, что сказал, пока она не ухмыльнулась.

– Может, и так, но я сильно тебе помогла. – Она отпустила его руку. Зажмурилась, по лицу разбежались морщинки. Она походила на старую каргу. – Я тебя люблю – нажми на этот звонок, а? Поскорей, пожалуйста. Пока. Приходи скоро.

Оуэн поспешил прочь по остывшим коридорам и вестибюлю, наружу в волглую яркость, пахшую влажной травой и тленьем. В глазах его вскипали слезы. Он так жестоко обходился с Фиби, и столько раз – как же смеет она его любить? Она поймала его в ловушку. Последнее слово осталось за нею.

Оуэну хотелось бы выкашлять из себя эти чувства, как будто он вдохнул в легкие жучка. Определить свои чувства он не мог. Оуэн напился. Проснулся в три часа ночи и принялся плести фантазии о том, как живет под другим именем в стране, которую никогда не видел. Думал, что сам он обезумел – или, во всяком случае, обезумела его жизнь. Жалел, что Фиби вообще родилась на свет.

Миновали выходные Дня труда. Однажды днем Оуэн зашел в пустую спальню Фиби, где у стены стоял портрет Элизабет, возвращенный из больницы. На него Оуэн недоброжелательно уставился. Слишком уж хорошо знал он женщину с картины. Отвлеченность маски превратила ее в неумолимую, неотзывчивую свидетельницу его прошлых ошибок и нынешней беспомощности.

Вслух он произнес:

– Нахер тебя. – Жаль, что ему не хватает выдержки на нее насрать. Вместо этого он на нее плюнул и кончиками пальцев растер плевков по ее лицу. Краска на ощупь была скользкой и жесткой. Оуэн восхитительно ощутил, что в доме он один, как будто дом принадлежит кому-то другому, а он украдкой проник в него, словно вороватый мальчишка.

У окна стоял стол, заваленный косметикой Фиби. Оуэн взял карандаш для подводки глаз и, удовлетворенно хрюкнув, нарисовал синие усы на щеках Элизабет, словно бы выточенных из золотистой слоновой кости. Под мягким кончиком поверхность оставалась тверда. Осмелев, он набрал тюбиков алой, пурпурной и красно-оранжевой помады. Рот и глаза украсил точками, полосами и росчерками. Держа все три тюбика вместе, всю голову окружил завитком жирного цвета.

Ему стало лучше. Он даже посмеялся над собой. Выглянул в окно – через свою лужайку и соседские на темный лесок поблизости, там и сям искаженный прозрачным паром, поднимающимся от жаркого солнца в конце лета. Нашел коробку «Клинекса» и принялся стирать свою пачкотню. Салфетка за салфеткой падала на пол, испятнанная цветами дочкиного рта. Оставшиеся следы он убирал уже намыленной влажной тряпицей.

Мыла и воды оказалось далеко не достаточно. Участки побледнее все еще покрывала лиловая или розовая дымка. Что-

бы завершить работу, он принес из подвала банку скипидара, порвал на тряпки чистую рубашку и взялся легонько стирать последние пятна. Закончил чистить одну щеку и уже приступал к глазу над ней, когда тряпка его зацепилась за корочку краски вдоль обода глазного яблока. Жженая сiena хлынула в светлую охра глаза. Он стирал ее как мог мягко; в свой черед, охра размазалась по носу. Оуэн выругался. Сходил в ванную и вернулся с зубной щеткой. Обмакнув ее в скипидар, стряхнул и вытер о рукав, чтобы наполовину отжать. Опершись локтем на холст, принялся медленно и кропотливо сметать попавшую не туда краску. Прилежание это ему вполне удавалось, когда с эластичных щетинок слетела бурая крошка и заскользила вниз по вертикальной поверхности. Оуэн машинально ткнул в нее тряпкой, которую держал левой рукой, и под пострадавшим глазом растеклась новая клякса размягченной краски.

Сделав шаг назад, Оуэн увидел, что портрету он нанес серьезный урон. Задумался, как это исправить. Полураздраженно, полушутя сказал себе: эта чертова дрянь – моя, так чего б не получить удовольствие. Намочил тряпки в скипидаре и обеими руками мстительно накинудся на картину. Намочив пигменты правого глаза, он размазал краски по пламенеющим волосам, залезая и в бледный пейзаж над головой Элизабет. Размазанное смахивало на рог. Ну где вы видели однорогую корову? Второй мазок он сделал из другого глаза. Намочил рот и размазал его в мальвовую дымку. Остальное

лицо он уничтожил оранжевым с ее волос.

Картину, зубную щетку и скипидар Оуэн унес в подвал. Стамеской отковырял кнопки сзади на подрамнике, а потом содрал холст. Сам подрамник разломал, полотно изрезал на ленты, запихал их в джутовый мешок вместе с тряпками и зубной щеткой. Выйдя в заднюю дверь, сунул мешок в мусорный бак под другие отходы. Палки от подрамника отнес в гараж, а там топориком нарубил и расколол все деревяшки на незначительную щепу, которую и вывалил на горку растопки за соседним сараем. После чего удалился к себе в комнату мыть лицо и руки.

## Оуэн и Фиби: II 1962–1963

Когда Оуэн отвернулся от нее тем летом, Фиби могла различить, что происходит; не почему. Оуэн начал относиться к ней как к врагу. Что сделала она, чтобы так настроить против себя того, кого так любила? Фиби призвала все свое терпение, надеясь, что если Оуэн и не откажется от этой враждебности, то хотя бы объяснит ее. Позднее она стала осторожной, а иногда враждебной и сама. Тогда Оуэн пристально смотрел на нее без удивления, как будто разглядывал любопытную старую фотографию.

Фиби начала страдать от двух несчастий. Во-первых, на несколько месяцев она потеряла Луизу и Уолтера, а любой из них мог бы ей помочь. Во-вторых, ее ползучая болезнь отравила ей и жизнь, и восприятие этой жизни.

Когда не работает щитовидная железа, это не воспринимается как симптомы. Уныние и возбуждение, даже несварение желудка трактуются как индивидуальные и обычные проявления. Только в сентябре Фиби обратилась к врачу – терапевту общей практики, который с ходу определил, в чем беда. Ей следует, сказал он, проверить основной обмен веществ, как это принято; для этого он ей посоветовал обратиться к специалисту по эндокринной патологии. Оуэн

кого-то порекомендовал; и тогда ее несчастье усложнилось неверным диагнозом.

У доктора Севарейда случилось прозрение специалиста: он лечил тысячи железистых расстройств и мог определить их с первого взгляда. Как только к нему в кабинет вошла Фиби, он увидел, что заболевания щитовидки у нее нет. Так ей и сказал. Конечно, следует проверить основной обмен веществ – эта оценка лишь докажет его правоту. Тотчас же он представил ее медсестре, которая эту оценку и произвела.

В исследовании измеряли обменную деятельность, фиксируя объем кислорода, который пациент потребляет за определенное время. В соседнем кабинете сестра заткнула Фиби уши и нос резиновыми пробками, а к ее рту пристроила маску. Через нее Фиби дышала кислородом из стоявшего рядом баллона; затычки сокращали ей поступление кислорода лишь до того, который подавался из цилиндра.

После того как Фиби начала дышать через маску, медсестра вышла из кабинета где-то на полторы минуты. Вернувшись, проверила результаты на мониторе, и ее потрясло, когда она обнаружила, что показатели не нормальны, – потрясло потому, что она верила в профессиональную лихость своего нанимателя так же, как верил в нее и он сам. Пока ее не было, сказала она, какая-нибудь пробка наверняка ослабла и впустила воздух. Поскольку ее за такую халатность могли уволить, она умолила Фиби не говорить врачу, что она оставляла ее в одиночестве.

Ей не следовало беспокоиться. Доктор Севарейд взглянул на результаты и заметил:

– Высоковато, но тревожиться не след. Должно быть, у вас уши подтекают.

Фиби обрадовалась, что не нужно врать про медсестру, и осталась довольна, что у нее все в порядке со щитовидкой. С удивлением узнала она, что у нее кардионевроз.

– Не волнуйтесь, с вашим сердцем все в порядке – это лишь мелкая неполадка нервной системы.

Доктор Севарейд предоставил Фиби то, чего она жаждала: авторитетное объяснение ее необычным чувствам. Она так и не усомнилась в его суждении. Он мог описывать симптомы, о которых она даже не упоминала: одышку, приливы. Когда он попросил ее вытянуть руки, те беспомощно задрожали.

– Вы видите, что состояние это физически реально, несмотря на то что происхождение его психогенно. Это то, что люди обычно называют «нервишки пошаливают». – Фиби вспыхнула как по команде. – Вероятно, какое-то время вы были расстроены чем-нибудь, что в вашем возрасте естественно, – да и в *любом* возрасте. – Он тепло улыбнулся и прописал милтаун<sup>42</sup> в умеренных дозах. Если не полегчает через месяц, всегда можно попробовать психотерапию.

Успокоительное притупило муку Фиби. Но приступы де-

---

<sup>42</sup> *Miltown* – торговая марка легкого транквилизатора мепробамата, впервые синтезированного в 1946 г.

прессии у нее ухудшились, и с каждым проходящим днем и ночью сердитое сердце ее билось все быстрее, а ночи она проводила не менее бессонно, чем раньше. Больше всего, вероятно, обескураживал ее голос в голове. Первоначально не громче шепотка, теперь он безжалостно болботал, унижая ее тем, что она едва ли могла вытерпеть: то был ее собственный голос, ставший гадким.

Фиби назвала этот голос верещалкой. Его она винила в том, что у нее колотится сердце, что он не дает ей спать в три часа ночи, а когда она все-таки засыпает – будит через каждые два часа. Когда однажды осознала, что начала с этим голосом пререкаться, у доктора Севарейда она попросила имя терапевта. Он ей посоветовал поговорить с Оуэном. Оуэну же конфиденциально порекомендовал своего коллегу доктора Строба.

Как и доктор Севарейд, доктор Строб был опытен и честен. Фиби не могла знать, что обоим врачам Оуэн описывал ее длительно и в тех понятиях, что лишь укрепляли его собственные предубеждения. Оуэну то, что Фиби невротична, доказывало, что она ведет неправильный образ жизни, и обосновывало его к ней недоверие. Она ошибалась с самого начала. Ему следовало заставить ее слушать его, вынудить ее остаться дома. Оуэн хотел, чтобы ее врачи поддерживали такие взгляды, и он нарисовал им портрет Фиби, близкий к карикатуре: жизнь ее утратила всякую упорядоченность, ее друзья принадлежат задворкам общества, она принимает

наркотики, предается половой невоздержанности.

Фиби знала, что́ Оуэн о ней думает. Когда б ни обсуждала она с ним свою жизнь, он оставался честно непонимающ. Стоило сообщить ему, что ей трудно засыпать, он предлагал перестать засиживаться допоздна. Ей не нравилось выслушивать его советы, пригодные для детей, и она презирала его убежденность, будто он ее понимает. Она решила в его присутствии хранить молчание. Своей верещалке сказала, что объяснять ему что-то – все равно что пытаться изменить политическую партию, вступив в нее. Верещалка ее отчитала: *детка, разве так положено разговаривать с врачом? Он расскажет тебе, у кого в семье яйца*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.